

Юрий Теплов



Первая любовь

ПОВЕСТИ

Юрий Теплов

Первая любовь

«Издательские решения»

Теплов Ю.

Первая любовь / Ю. Теплов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-838852-1

В повести «Крутится, вертится шарик земной» рассказывается о жизни молодых офицеров, о трудностях, с которыми они сталкиваются в первые годы службы, об их участии в венгерских событиях 1956 года. И, конечно же, о любви. Главные герои повести «Подкова» — строители Байкало-Амурской магистрали Женька Савин, Иван Сверяба, Халиул Давлетов и юная охотница Эльга. Их встреча в тайге стала началом событий, потребовавших проявления человеческого мужества в ущерб личным интересам.

ISBN 978-5-44-838852-1

© Теплов Ю.

© Издательские решения

Содержание

Крутится, вертится шарик земной, или Повесть о первой любви	6
Как родная меня мать провожала	7
Первокурсники	10
Антилопа глазастая	16
Выпускники	18
Лейтенантские звезды	21
«Зеленая мыльница!»	26
Танька-попадья	32
Я – «Гроб»	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Первая любовь

Юрий Теплов

Дизайнер обложки Ольга Третьякова

© Юрий Теплов, 2017

© Ольга Третьякова, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-8852-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Крутится, вертится шарик земной, или Повесть о первой любви

Скачет время, как дикий тулпар по бескрайней степи. Не успел оглянуться, а все уже позади. Должно бы и быльем порости, ан нет – дышит, колышется. И трава остается вечнозеленой, будто жизненная непогода ей нипочем.

Как родная меня мать провожала

Перрон уфимского вокзала гудел нетрезвыми голосами, гитарными аккордами, гармошками, частушками и смехом. Ждали эшелон для отправки призывников. Один вагон предназначался для будущих курсантов военных училищ города Чкалов. Так тогда именовался нынешний Оренбург. От товарняка на соседних путях пахло мазутом и прокисшей капустой. Теплый ветерок казался сладковатым.

Меня провожала моя молодая маманя. Она на самом деле была молодой, потому что родила меня в восемнадцать. И еще провожала Дина Валиева.

Я познакомился с ней на школьном вечере. На него были приглашены девчонки из третьей женской школы, что на улице Пушкина. Школьники и школьницы учились в те времена раздельно, и совместные вечера были праздником. Девчонки являлись на них в парадных белых передниках и с белыми бантами в прическах.

Танцевать я не умел, но расхрабрился и пригласил Дину. Так и познакомились. Ходили в кино, на каток и просто гуляли по городу.

Мою маманю она впервые увидела на вокзале. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Мать, взглядывая на Дину, красноречиво вздыхала.

– Сними, жарко, – сказала маманя, кивнув на кепку.

Кепкой я прикрывал стрижку под ноль. До призыва мою голову украшала русая шевелюра. Я не жалел о ней. Но за ту неделю, что мы прожили на сборном пункте в палатках, так и не привык к босой голове. Да и кто привык? Серега Толчин тоже напялил соломенный брыль с загнутыми полями и этим выделялся из кучи будущих курсантов Чкаловского училища зенитной артиллерии, сокращенно – ЧУЗА.

С Серегой, мы, хоть и жили на одной улице, но не приятельствовали. У него своя компания, у меня – своя. Но встретившись на медкомиссии, обрадовались и старались держаться вместе. Он как-то сразу приспособился к новому быту. Отвоевал в палатке место в углу нар. Я устроился рядом с ним. По другую сторону оказался молчаливый и весь какой-то несимметричный парнишка-мужичок.

– Зовут как? – зычно спросил его, разравнивая соломенный матрас, Серега.

– Даниял. Бикбаев.

– Откуда?

– Бурзянский.

Бурзянский район – таежная уральская глушь на севере Башкирии.

– Тоже в офицеры захотел? – продолжал допытываться Толчин.

– Ага...

Толчина провожали сисястая Лидуха, родимый дядя и еще куча народу. Поддатый дядя уверенно стоял на кривоватых ногах – коренастый, с густой копной черных волос, в куртке с замками-молниями, из-под которой выглядывала тельняшка. В руках у него была бутылка с портвейном и граненый стакан...

Данияла Бикбаева никто не провожал. Набывчившись, он стоял в стороне и время от времени взглядывал то на нас троих, то на Серегу с Лидухой.

Серега был слегка пьян и весел. Он был красавец парень и владел Лидухой на правах жениха. Целовал и обжимал ее, не стесняясь. И успевал в то же время видеть все, что происходит вокруг.

– Данька! – крикнул он. – Сено жуешь?

У Бикбаева была привычка шевелить губами, если он чувствовал себя неудобно или не знал, что делать. Мы переименовали его имя на русский лад, и называли Данилой или Данькой.

– Кати к нам! – не унимался Серега. – Дам разок Лидуху полапать.

Та шлепнула его по губам, и он снова обхватил ее своими клешнями.

«Как родная меня мать провожала!..» – залилась гармонь, и тонкий бабий голос перекрыл перронный гомон. А Лидуха висла на Сергее, обвивала его, и, казалось, готова была отдаться ему прямо в этом многолюдье. Глядя на нее, дедок, провожавший на службу внука, чмокнул губами и прошепелявил:

– Всего высосешь, оставь маненько!

– Что мое – то мое, – откликнулась та.

– Племяш! – позвал флотский дядя. – Кончай лизаться! Айдайте на посошок!

Серега подтолкнул Лидуху в круг, дядя сунул ей стакан. Она зажеманилась, но тот сказал, как гвоздь вколотил:

– Уважь!

Она отпила, передала Сереге. Тот поднес стакан к губам, но дядя остановил его:

– Погодь! – ловко достал из кармана брюк-клешей деревянный половник. Налил в него из бутылки, чокнулся о стакан.

– Жизнь и бабу держи в руках. Не дай никому себя обойти. Будем!

Серега махом глотнул. Оба крикнули и утерлись ладонью.

– Милуйтесь! – приказал дядя.

«Как родная меня мать провожала-а-а...»

А мне моя маманя втолковывала, чтобы был осторожен, ни с кем не связывался и не перечил командирам. Мне было стыдно перед Диной за эти наставления. Я мычал в ответ: буду, мол, хорошим и связываться ни с кем не стану. Дина молчала, переминалась с ноги на ногу. Я видел, что ей не по себе от разноголосого гама, от Серegiной лихости, от того, что моя маманя нет-нет, да и бросала на нее колючий взгляд: все равно, мол, сын мой, а не твой. Я так и читал ее взгляды и ощущал, как неловко от них Дине.

Лицо у матери было строгим, даже жестковатым. Волосы в этот раз она почему-то зачесала назад, и ото лба к уху заметно белел шрам, скрытый обычно кудрями.

– Вовки на память оставили, – сказала она, будто отвечая на чей-то вопрос.

Шрам остался еще от послевоенных голодных времен, когда она ездила в деревню обменивать на еду кормовую соль. Огромные белые куски посчастливилось ей тогда получить вместо хилой учительской зарплаты. Где-то по дороге от станции Белое Озеро к Уваровке и нагнали ее волки. Перепугалась, а мешок с солью не бросила. Бежала по дороге, подгоняемая стаей, и не услышала, не увидела, как вымахнула из бурана лошадиная морда. Очутилась мать прижатой к передку председательской кошевки. Волокет она ее по дороге, а перед глазами лошадиные копыта... Обошлось, шрам вот только и остался.

– Вы прогуляйтесь, а я посижу на завалинке, – вдруг предложила она.

Завалинкой она по-деревенски назвала бетонные отмостки станционного здания. Назвала намеренно, назло начальнической дочке Дине, чтобы подчеркнуть, что мы такие вот, от земли, не то, что вы...

Я видел, что она не хотела меня отпустить. Но переселила себя, с досадой на чужую девчонку и с демонстративным великодушием, оценить которое в первую очередь должен был я.

– Пойдем, – сказал я Дине.

Мать недовольно поджала губы. Но мы уже уходили по низенькому перрону. Миновали тепловоз и остановились на гравии у переплетения путей. И сразу отступила вокзальная толча. Я хотел ее поцеловать, но что-то тормозило меня. Впервые мы поцеловались после выпускного вечера в школе. И через два дня поехали на служебной машине ее отца к ним на дачу на берегу речки Дёмы. Там было море ромашек на лугу и ее мама с папой. Они спросили меня:

- Какую же вы, Леня, решили избрать профессию?
- Пойду в военное училище.
- Вас привлекает форма?

Если честно, то форма привлекала. Тогда она была в почете, не то, что в годы перестройки. Парень, не отслуживший в армии, даже в женихи не годился: с браком!

Я представлял себя в хромачах, в галифе и гимнастерке, перетянутой ремнями. А на плечах – золотые погоны. И вспоминал при этом песню, которую пели бабы уже после того, как давно кончилась война, и я мог переваривать и запоминать услышанное:

*...С золотыми погонами,
И вся грудь в орденах...*

Бабы пели и плакали. А я уж точно знал, что придет срок, и я появлюсь в Уфе в этих самых золотых погонах и пройду гоголем по улице Ленина, сверну на Коммунистическую – и вниз, до дома правительства, где встречу с Диной. В те времена у правительственных домов не было даже сторожа. Ворота и калитка ограды были лишь прикрыты. Тогда никто никого не отстреливал, и бояться было некого.

...Мы стояли на перехлесте путей. Она была грустная, как ромашка, заплутавшаяся на берегу. Взглянула на меня не глазами – всем лицом, подалась ко мне и спросила:

– Ты сильный?..

Лишь через годы я понял этот вопрос. А тогда молча притянул ее к себе. Она готовно подалась, лишь взглядывала в мое лицо, словно требовала ответа.

С перрона неслось: «Как родная меня мать – эх! – провожала-а...»

Первокурсники

Серегу, Даньку и меня распределили в батарею, которой командовал капитан Луц.

Наутюженный, в начищенных до блеска сапогах и в гимнастерке с орденами и медалями, он приходил на утренний развод, словно собрался на парад. Было ему лет тридцать, не больше, а уже седой. Голоса никогда не повышал, но говорил, как гвозди вколачивал. Ослушаться комбата, тем более перечить ему никому и в голову не приходило. Не то, чтобы боялись, а уважали за награды и седину.

В тот раз тревогу он объявил задолго до рассвета. Механиками-водителями тягачей были курсанты второго курса. Они уже имели водительские права. Мы – номерами оружейных расчетов. Даня и я – наводчики по горизонтали и вертикали. Серега исполнял обязанности командира расчета.

В учебный центр батарея прибыла еще затемно. Не успело брызнуть солнце, а мы уже приступили к оборудованию переднего края.

Попросту говоря, рыли длинную, с изломами траншею с оружейными двориками для 57-миллиметровых зениток. То было плановое занятие по тактике. Учебный вопрос именовался длинно и мудрено, но суть была конкретная: на нашу огневую позицию напал неприятельский десант, и мы должны были разгромить его решительно и бесповоротно.

Противник десантировался на песчаную проплешину, сиявшую почти у самой вершины поросшего рыжей колючкой бугра. Держа карабины наперевес, мы выскакивали из траншеи и с яростью кидались наверх. Но голос комбата вновь и вновь «выводил нас из строя». Мы откатывались назад и опять закапывались в землю.

Завтрак старшина Кузнецкий привез нам в поле еще на рассвете – сухой паёк из банки рыбных консервов, пачки галет на двоих и двух кусков сахара. Само собой, что уже через три часа от сытости остались одни воспоминания. В предвкушении нормального обеда мы обрушивались на ни в чем неповинную проплешину и осатанело крушили условного противника. К часу дня добили его и умотались вусмерть. В городок возвращались «пешеходным», так именовался быстрый походный шаг.

Старшина батареи был свой же брат – курсант, только с третьего последнего курса. Вредный был старшина Кузнецкий. Глядел на первокурсников, прищурившись, словно он крокодил, а мы – мелкая живность.

Перед обедом он построил батарею повзводно: впереди – выпускники, а мы, салаги, в самом конце. Старшекурсников отправил в столовую, а нас оставил.

– Курсант Толчин!

– Я! – выкрикнул Серега и отпечатал два четких шага из строя.

– Пятнадцать минут строевой подготовки! Занимайтесь с взводом!

– Слушаюсь.

Боже, как же не хотелось заниматься шагистикой! Гудели ноги и руки, хотелось жрать, как из пушки, а тут...

– Р-р-ра-йсь! Сыр-р-ра-а!.. Отставить!

Красиво командовал Серега. А строй исполнял его команды некрасиво. Старшина сплюнул и вмешался:

– Вы – что? Из института благородных девиц? Как держите головы? Подбородки – выше! Курсант Бикбаев, опять спите?

– Никак нет, – бодро ответил Данька.

Даня любил поспать. Это все знали. Однажды на классных занятиях по противохимической защите мы долго сидели в противогазах. Потом преподаватель скомандовал снять их.

Мы с облегчением стащили маски, и лишь Даня, оперевшись рукой в подбородок, поблескивал противогазовыми очками.

– А вас, Бикбаев, не касается?

В классе повисла тишина, и в ней мы слышали спокойное похрапывание...

Но в этот раз он не спал. Стоял рядом со мной по правую руку и таращился на старшину раскосыми карими глазами.

– Чего уставились, Бикбаев? – голос Кузнецкого всегда отливал металлом. – Я вам не девка с голыми титьками! Курсант Толчин, спал Бикбаев в строю или нет?

– Так точно, спал! – громко выкрикнул Серега.

Я уставился на него. Он что, спятил? Попытался поймать его взгляд, но тот смотрел поверх голов.

– Курсанту Бикбаеву за нарушение дисциплины строя..., – с паузой объявил старшина, – два наряда вне очереди! Чистить галюн!

За что он невзлюбил Данияла, я не понимал. Ну, медлительный, неповоротливый. Но и старательный, и надежный.

– Что вы жуετε губами, Бикбаев? – продолжал Кузнецкий. – Должны ответить: «Слушаюсь».

– Слушаюсь, – произнес Данька.

– А вы, Дегтярев, чего мотаете головой, как лошадь на параде? – Это уже я попал в поле зрения старшины. – Что за скотские манеры? Один жует, другой головой мотает!.. Чтобы служба не казалась медом... – раздельно, словно подавая предварительную команду, отчеканил Кузнецкий, – нале-э-ву! Шагом... арш!.. Командуйте, Толчин!..

Вечером мы молча сидели в кубрике – так, на матросский лад, называли свой казарменный отсек. По велению старшины мы с Бикбаевым держали раскрытым устав внутренней службы и делали вид, что читаем его. Толчин подшивал свежий подворотничок и время от времени взглядывал на нас. Вдруг Данька встал, подошел к нему. Тот поднял голову:

– Что скажешь?

– Дерьмо ты, Толчин! – и пошел на место.

– Что ты сказал? – оторопел тот.

– Дерьмо! – не оборачиваясь, проговорил Данька.

У Толчина дернулась щека. Отложив гимнастерку, двинулся к Даньке.

– Ты, Колода! Ну-ка повтори!

Прозвище «Колода» Бикбаев заполучил с легкой руки Толчина еще в «карантине», когда мы проходили курс молодого бойца. Кто-то разгадывал кроссворд и спросил:

– Сборник карт – что?

– Колода, – не задумываясь, ответил Даниял.

– Сам ты Колода, – вмешался Серега.

Прозвище так и осталось...

– Повтори, Колода! – процедил Толчин.

– Дерьмо!

Я видел, что силы не равны. Бикбаев на полголовы ниже Толчина. Даня стоял бычком в готовности и глядел, как тот надвигается.

Не знаю, что меня подняло с табурета, храбрецом я себя не считал. Но что-то толкнуло. Вскочил и с разгона влепил Сереге по красным губам. Он не ожидал нападения, отлетел к кроватям, ударился головой о спинку. Поднялся, двинулся на меня. Я схватил табурет, выставил перед собой и завопил:

– Подойди только!

И тут же услышал:

– Курсант Дегтярев!

На входе в кубрик стоял старшина Кузнецкий:

– Толчин, идите в умывальник и приведите себя в порядок. А вы, Дегтярев, через полчаса – в канцелярию батареи!

Во мне все опустилось, и в пустую голову застучала мысль: отчислят!

Даня пробормотал:

– Однако не надо тебе было... Я сам бы...

Толчин явился из умывальника с мокрыми волосами и распухшими чистенькими губами. Глянул на нас исподлобья и опять принялся пришивать подворотничок.

В канцелярию я шагнул минута в минуту.

– Опоздали на сорок секунд, – объявил старшина и стукнул ногтем по циферблату своих часов.

Я не стал возражать. Стоял, уставившись на портрет Сталина на стене, и явственно ощущал, что Кузнецкий разглядывает меня ровно букашку. Затем он сказал, разделяя каждое слово:

– Офицер, не научившийся подчиняться и соблюдать воинские уставы, армии не нужен. Вывод: будущий лейтенант Дегтярев не нужен тоже.

Секунды продолжали молотить в голову: отчислят, отчислят... Я чувствовал, как обволакивает всего замешанная на злобе паника. На злобе к этому старшекурснику и к красавцу Толчину. Слабым проблеском в мутном сознании мелькнуло: отслужу срочную и вернусь в училище.

– Вас Толчин оскорбил? – продолжал пытку Кузнецкий.

– Никак нет.

– Почему же вы кинулись на него с табуретом?

– Бикбаев обозвал Толчина, а тот...

– Не вижу логики, Дегтярев! Один обзывает образцового курсанта, другой бьет. А если бы я не вмешался?..

Прежде чем отпустить меня, он сделал паузу, вновь поглядел, как на букашку. Наконец, махнул рукой, и лицо его приняло безразличное выражение.

Даня встретил меня, виноватый и грустный, и от его взгляда мне стало совсем тошно.

После старшины меня воспитывал командир взвода старший лейтенант Воробьев. Беззлобно, почти равнодушно, словно бы выполнял неприятную обязанность. Скорее всего, так оно и было. Наш взводный стал недавно чемпионом округа по десятиборью и постоянно пропадал на тренировочных сборах. И то, что происходило во взводе, ему было до лампочки.

Вечером меня пригласил на беседу командир батареи капитан Луц. На «беседу» он не вызывал, а «приглашал».

Я переступил порог его кабинета и по уставу доложил о прибытии.

– Садитесь, рассказывайте, – показал он на стул.

Я не мог выдавить из себя ни слова. Уставился на пепельницу, вырезанную из снарядной гильзы, и не отрывал от нее глаз. Комбат тоже молчал. Наконец, я открыл рот:

– Виноват.

В этот момент и раздался стук в дверь.

– Разрешите войти? – Толчин вырос в проеме, лихо вскинул руку к козырьку: – Я по поводу конфликта.

Комбат с любопытством глянул на него.

– Слушаю вас.

– Виноват во всем я, товарищ капитан.

И стал рассказывать, как всё было. Ничего не утаил. Даже о том, что старшина Кузнецкий объявил Бикбаеву два туалетных наряда несправедливо.

У меня было такое ощущение, будто не я, а кто-то другой, со стороны, наблюдал всю эту картину. Мне казалось, что в глазах комбата прячется усмешка.

Закончил Сергей словами:

– Готов понести любое наказание.

– Хорошо, – сказал капитан Луц. – Свободны. – И когда тот вышел, спросил меня: – Где отец-то ваш погиб?

– В Прибалтике.

– Тоже артиллеристом был?

– Дивизионом командовал.

– И я в Прибалтике воевал. Командиром расчета ЗПУ. Родные для меня места.

Он сделал паузу и неожиданно для меня перешел на «ты».

– Как ты в школе учился?

– Средне.

– В училище пошел по желанию?

– Так точно.

– Я наблюдал за вами. Но особого рвения и способностей пока не заметил. Вопросы или просьбы есть?

– Не отчисляйте из училища.

– Не отчислим...

Во мне дрогнуло все сразу. Я вдруг увидел на стене картину с беспокойным морем и силуэтом корабля вдалеке. Тикали ходики с гирькой на цепочке и немецкими буквами на циферблате, наверно, еще трофейные. По кабинету плавал табачный дым.

– Иди, Дегтярев. Месяц без увольнения в город...

Я вышел, словно хлебнувший хмельного. Верный Даня топтался поблизости. Увидев меня, спросил шепотом:

– Списывают?

Я тоже ответил шепотом:

– Нет.

– На губу?

– Нет.

– А куда?

– Никуда. Месяц без увольнения. Толчин все на себя взял...

Когда это было?.. Время прошло белоей краской по головам. Белые снега запорошили хоженные тропы. Белые ветры разметали нас по белу свету. Но мальчишки остаются мальчишками, сперва взрослыми, затем седыми и старыми...

На вечерней поверке я извинился перед Толчиным, на этом настоял Кузнецкий. Сергей по собственной инициативе извинился перед Бикбаевым. А старшина, скрипя зубами, отменил ему туалетное взыскание.

Месяц неувольнения – тьфу! Я и так не рвался в город. В воскресные дни сидел в леновкомнате, писал мамане короткие письма-донесения и сочинял Дине длиннющие послания. В ответ же получал от нее тоже что-то вроде донесений: про лекции в институте, про незнакомых мне студентов – и ни слова про любовь. Обидно!

С Толчиным потихоньку все утряслось. Он сам подошел к нам:

– Не казните, земляки!

– Чего там, – буркнул Даня.

Я сказал:

– Ты молоток, Серега!

Мы трое были земляками. А земляки в армии – почти родня. Да и благодарен я был ему. Не побоялся, выручил.

По весне, в конце первого курса, мы участвовали в дивизионных учениях. Несколько суток наша батарея перепахивала полигонное поле. Наверху писали приказы и придумывали вводные. Выпускники были командирами, а мы все – рядовыми. Куда прикажут, туда и перемещались. Закапывались в землю, отражали налеты авиации «противника», бросали готовые орудийные дворники и опять куда-то ехали, чтобы закапываться снова. Это называлось «производить инженерное оборудование». К исходу четвертых суток мы произвели пятое или шестое такое оборудование. Забрались после несытного походного ужина в палатку и, перебрасываясь словами, слушали, как шуршит о брезент мокрый снег.

Я намаялся, лежал с закрытыми глазами и видел улицу Пушкина в Уфе, мохнатый и медленный снег, покрывавший тротуар белой пуховой шалью. На ней четко выделялись две пары следов: Динины и мои... Еще видел вокзальный перрон и перекрест путей, где мы стояли с ней, покинув маманю.

– Ты сильный? – спросила она.

На такие вопросы не отвечают. И я не ответил. Хотя и был самым сильным в тот миг и мог сделать все, что она пожелает.

– Надеюсь, что сильный, – сказала она. Обхватила мою голову и поцеловала как-то очень уж по-взрослому – в лоб, в щеки. И в губы, так что помутнело в глазах.

На грешную землю меня вернул старшина Кузнецкий. Он был дублером нашего взводного старшего лейтенанта Воробьева, который снова воевал на спортивных сборах. Старшина возник в палатке посланцем дьявола и произнес бодреньким голосом:

– Связистов вывел из строя посредник. Со штабом связи нет. Желающие прогуляться, двое!

«Прогуливаться» по такой погоде никто не желал.

Я ужасся, стараясь не шевелиться, чтобы не попасть в поле зрения старшины. И услышал голос Толчина:

– Я готов, товарищ командир, – Кузнецкому нравилось, когда его называют командиром.

– Кто еще?

С тоской взглянув на Сергея, я поднялся. Собственно, мог и лежать, завернувшись в плащ-накидку, но какая-то сила вытолкала с места, и я обреченно ей подчинился.

В поле шел дождь со снегом. Случается в конце весны такая погодная несурезица – ни просвета в небе, ни надежды, что такой просвет появится.

Сергей взвалил на плечо телефонную катушку и споро зашагал в темноту. Мы шли, утопая в грязи, вдоль глинистого, с рыхлыми снежными островками оврага. Шли бесконечно долго, пока не наткнулись на обрыв в линии. Это тоже была вводная: метров пять провода были аккуратно вырезаны. Устранили повреждение и зашагали обратно под нудной рассыпчатой моросью.

– Ты Лидуху помнишь? – спросил вдруг Сергей.

Конечно, я помнил Лидуху, обнимавшую Серегу в вокзальной толчее. С чего бы он заговорил про нее?

– Надоело письма ей сочинять.

Мы вышли на дорогу, перепаханную тягачами. Зашагали по грязному месиву. Невдалеке, нарушая все инструкции по маскировке, вспыхнула фара. Сергей остановился. Я тоже. Его прихваченное светом лицо показалось мне то ли грустным, то ли просто задумчивым, что было Сереге совсем несвойственно. Фара погасла, и ослепила темнота.

– У тебя, Ленька, как в уставе, – сказал он. – Кончишь училище. Твоя краля – институт. Поженитесь... Слушай, а ведь вы не поженитесь. Знаешь, почему? Потому что долгие разлуки нам не по зубам. Естество свое потребует.

– Не потребует.

– Ты баб еще не знаешь.

– А ты знаешь?

– Знаю. С Лидухой нас связывало только траханье. Были бы рядом – притерлись. А так – на хрен она мне нужна?

– Ты напиши ей, чтобы не надеялась.

– Зачем? Еще отпуск впереди...

Через полтора года Сергей все же послал Лидухе прощальный привет. К тому времени он уже стал сержантом и командиром нашего расчета. Бегал по ночам в самоволку в детский садик, которым заведовала похожая на антилопу юная дамочка Ольга. Я же исполнял обязанности сторожа. Если кто-то из начальства интересовался Сергеем, мчался сломя голову к ним, и через пять минут самовольщик был на месте: входил в кубрик без ремня и в сапогах на босу ногу, вроде бы из туалета.

Антилопа глазастая

В те времена женихи в погонах были нарасхват. Девчонки напропалую клеили курсантов в надежде стать офицершами. В одно из воскресений мы с Данькой получили законные увольнительные и отправились на Беловку. Так называлась березовая рощица, раскинувшаяся на берегу Урала. Там и засекли нас две смешливые подружки. И, наверно, заранее нас распределили. Глазастая и языкастая окликнула:

– Курсанты, пирожков хотите?

Мы хотели пирожков. И с грибами, и с клубникой. Запасливые подружки даже прихватили из дома термос с чаем.

Глазастую звали Ольгой. Пухленькую блондиночку, которая, как я понял, предназначалась мне, Сталиной...

Наш роман с ней ограничился пирожками. А Данька влюбился в глазастую мгновенно и надолго. Проводил с ней все свои увольнительные дни, пока не привел ее в училище на вечер отдыха и не познакомил с Сергеем.

А на того девки всегда западали: красавчик! Темноволосый, смуглолицый, с прямым крупным носом и с грешными губами. К тому же ему долго аплодировали и вызывали на «бис», когда он спел под гитару со сцены про ту, что рядом, но «все ж далека, как звезда». На «бис» он исполнил свою, курсантскую:

*Крутится, вертится шарик земной,
Вместе с расчетом и вместе со мной.
В небе крадется шпион-самолет,
Полк наш зенитный шпиона собьет.*

Не знаю, кто сочинил слова. Песня перешла к нам по наследству. Сереге снова долго хлопали. Но ведущий уже объявил акробатов.

Ольга сама пригласила его на белый вальс. Жалась к нему, как кошка, и не отпустила от себя и после вальса.

По первости Даня глядел на них скорее удивленно, чем обиженно. Потом рванул из клуба, и я нашел его на стадионе. Видеть Сергея он не хотел. Но я настоял на том, что мы должны поговорить с ним по-мужски.

По-мужски не получилось. Толчин появился в казарме перед самой поверкой и сам подошел к нам:

– Я сволочь, да?

Конечно, он был сволочью. Но умел найти слова, после которых мужские разборки исключались.

– Понимаю, что сволочь, – проговорил он, наткнувшись на наше молчание. – Данил! Хочешь, я не стану с ней встречаться?.. Но и тебе не обломится, понимаешь! Она уже на мне заиклилась... Чего молчишь?

– Чего там, любитеесь, – буркнул Даня.

– А у нас на лугах клевером пахнет, – сказал он однажды.

Мы топтали в тот день полынный косогор, катали руками свою 57-миллиметровую пушку и падали на траву в короткие перерывы.

– А у нас хариус в реке водится, – сказал он в другой раз, когда мы переходили вброд разлившуюся после ливня Узу.

И я отлично представлял бурзянскую деревишку, прилепившуюся к крутому берегу реки Белой, где Даниял прожил свои девятнадцать лет. Сразу за рекой гористый перелесок. Там наверху и водились в быстрой речушке хариусы...

В увольнение он больше не записывался. И Ольгу не упоминал.

Внизу дремал маловодный Урал. Луна перебросила через него узкий светящийся мостик, и он пришелся как раз в рыбачью лодку, заякоренную на середине реки.

Мы сидели на поваленном дереве: Сергей с Ольгой и я. Пили из общего стакана портвейн и ели Ольгины пирожки.

– Эх, Антилопа, ты даже не знаешь, где живут синие зайцы? – Сергей называл ее Антилопой, и ей, похоже, это нравилось.

– Вот окончим училище, – продолжил он, – и мы с Ленчиком (со мной, значит) поедем туда. Там тайга и сопки. И синие зайцы.

Откуда он взял синих зайцев, я понятия не имел. Еще Лидухе пудрил ими мозги. И Ольге пудрит. Ей плевать на зайцев, но поехать с Серегой она бы не отказалась. На край света рванула бы. Но он не торопился приглашать ее с собой.

Я же мысленно говорил ей: «Дура глазастая! Не разглядела Даньку! Про синих зайцев он, конечно, не может, зато увез бы тебя туда, где они водятся».

У Серегина увольнение было до утра. Я знал, что ночь они проведут в кустах, из Ольгиной сумки призывно выглядывали одеяло и еще одна бутылка портвейна.

Я был третьим лишним. Мне пора было сматываться, что я и сделал.

Роща выглядела не из мира сего. Лунный свет просеивался сквозь тонкие березовые стволы и начавшие облетать вершины. Белые стволы отливали желтизной. Даже траву будто припудрило бронзой. Это была наша последняя училищная осень.

Я шел и вспоминал другую рощу и другой сентябрь. Свой первый отпускной сентябрь, в котором были Дина и я.

– Где же я буду учиться? – спрашивала она.

– Заочно.

– А где мы будем жить?

– Найдем, где жить.

– Нет-нет, Леня. Два года. Сначала сам посмотри. И сопки, и тайгу. И даже синих зайцев. Я видела синих кур. А зайцев твой Сергей выдумал... Ну, что ты?.. Ведь всего два года!..

Выпускники

Поступали мы в трехгодичное училище. Но вскоре срок обучения сократили на год, чему мы возрадовались, как подарку судьбы. Что такое два года?.. В училище они пролетели, как зенитный снаряд, пущенный по конусу-мишени. Конус – это большой рукав, наполненный воздухом и буксируемый самолетом на длинном тросе. Наблюдатель из полигонной команды засекает в конусном радиусе разрывы, и зенитчики получают оценки. Исключительным проявлением мастерства было сбить конус.

Один раз нашему расчету это удалось. Мы с Бикбаевым работали за наводчиков: он – по вертикали, я – по горизонтали. И когда рукав, вдруг усохнув после наших выстрелов, стал падать, все замерли, а, уверовав в такое везение, взорвались упоенным «Ура-а!».

Перед моими глазами мелькали тогда небо, пушки и лицо капитана Луца, с улыбкой глядевшего, как наводчиков, то есть нас с Данькой, качали всем взводом. Прямое попадание – это не фунт изюма. Это финал стрельб – нет больше мишени, и стрелять не по чему! Это пятерка всей батарее и досрочная дорога на зимние квартиры... Серега Толчин стоял в те минуты чуть в стороне и снисходительно так посматривал, словно на детскую забаву. Он исполнял обязанности старшины батареи вместо надевшего лейтенантские погоны Кузнецкого...

Да, думал я, шагая по бронзовой роще, два года могут столько наворотить, что мало не покажется. Вон как мы все изменились, и я в том числе. После того, как я смазал Сереге по губам, как-то враз почувствовал себя уверенней. Хотя и потрепал мне тогда нервы Кузнецкий. Ради кулаков я даже записался в секцию бокса, и тренер нашел, что в мухачи вполне гожусь. В мухачи я не собирался. Важнее было, чтобы я мог переть буром на кого угодно. Увы, сила не в кулаках. Они не помогут уговорить Дину. Разве что золотые погоны уговорят?..

Я шагал меж белых стволов. И опавшие листья хрустели под ногами точно так же, как в нашу последнюю отпускную встречу.

Я любил смотреть на освещенные окна. Они хранили людские тайны, и тени на занавесках воспринимались как бесплотные духи тысячи и одной ночи. Одно далекое окно на втором этаже было для меня окном надежды. Из него на огороженный широкий двор пробивался зеленоватый свет. Иногда на подоконнике появлялась цветочная ваза. Значит, она заметила меня и скоро появится из подъезда...

Я лежу на своей солдатской кровати и не сплю. Данька уже видит десятый сон. Наши кровати стоят вплотную, и головы покоятся на подушках в метре друг от друга. Я тоже стараюсь заснуть, но мешает окно моей надежды.

И еще я представляю огромное окно служебного кабинета, в котором лежат наши личные дела. Мы ждем приказа министра обороны о производстве в лейтенанты. Нам уже выдали офицерскую форму, и мы, протянув под курсантский погон португепю и смачно поскрипывая хромачами, заполонили город и взбаламутили карауливших женихов девчат. Только денег у нас пока еще нет. И золотистых погон с двумя маленькими звездочками тоже нет. Их вручат нам после подписания приказа...

И вот этот долгожданный день наступил. Выпускников собрали в клубном зале. В президиуме на сцене наш начальник училища с золотой звездой и укороченной ногой. И мы, наутюженные, надраенные и готовые к бою. В зале уже нет курсантов. Здесь все офицеры. Идет распределение выпускников по военным округам. Те, кто окончил училище по пер-

вому разряду, имеют право выбрать округ, где начнут свою офицерскую службу. Фамилии перворазрядников зачитывает майор, начальник отдела кадров.

– Андреев!

– Прикарпатский.

– Алиев!

– Северокавказский...

Мы с Сергеем тоже можем выбрать округ, где начнется наша пэвэошная служба. Данька недотянул до первого разряда. Но все равно мы трое решили ехать на Дальний восток, туда уж точно места останутся.

– Ты слышишь, народ Прикарпатский выбирает, – говорит Сергей и поворачивается ко мне всем корпусом. – А ведь мы дураки. На восток всегда загнать успеют.

Я машинально киваю головой.

– Вот она синяя птица, – шепчет Сергей. – Слышишь, Ленька, где живут синие птицы?

– Зайцы, – поправляю я.

– Зайцев я придумал, чтобы не повторяться. Про синюю птицу даже песня есть... Давай махнем в Прикарпатье, а, Лен?

– Ты что? Ведь мы уже решили! Нас же трое!

Взгляд у него беспокойный, как тогда, в грязном поле при свете фары.

– Пока молодые и не обабились, хоть страну поглядим, Лен! Больше права выбора никогда не будет.

Я сижу, будто оглушенный. Меня заворожили слова: право выбора. Падает сверху, бьет сбоку, сзади: «Прикарпатский, Московский, Киевский...». Даня, ткни меня, чтобы я очухался! Уже вызывают лейтенантов-перворазрядников на букву «Д». Сейчас выкликнут меня.

– Дегтярев!

– Прикарпатский, – шепчет Серега.

И я, как попка, повторяю:

– Прикарпатский.

Еще можно крикнуть, что ошибся, и переиграть, как договаривались. Пока еще нас трое. Даня опустил лобастую голову. Я сижу посередине между ними.

– Молоток, Ленчик! – говорит Сергей. – Синие зайцы от нас не уйдут.

...Оглядываюсь сегодня на того лейтенанта и понимаю, что он просто-напросто пацан. Только этого не видно за золотыми погонами. Тот пацан думал, что он мужчина, а был цыпленком. Я не смел даже взглянуть на Даню, чувствовал себя предателем.

– Понимаешь, Даня..., – мямлю я.

– Все правильно, Леня. У тебя же первый разряд.

Ох, эти Данькины глаза! Коричневые и грустные, как у кутёнка!.. Он уехал на Дальний Восток.

Когда наступает вечер, синий, как воды в горном озере, когда звезды становятся похожими на спелые яблоки, я заставляю себя вспоминать далекий город.

Девчонка идет по лужам. Плевать девчонке на дождик! Разметал он у нее прическу. Идет она, спеленатая мокрым платьем, одна посреди улицы, и улыбается сама себе. А на автобусной остановке стою я. И глаз не могу отвести от выросшего из дождя чуда. День скатывается в сумерки. День опять что-то уносит.

Минуты уходят, как уходит все, кроме памяти. Уходит в мокром платье девчонка с наброшенным на руку плащом. Вот что я заставляю себя вспоминать. Заставляю. Сотни клавиш у памяти. А нажимаешь одни и те же, чтобы вернуться в пункт отправления.

...Песок и мы, полудохлые после марш-броска, в гимнастерках с белыми разводами.

– Ты знаешь, – говорит Толчин, – когда-нибудь мы с удовольствием будем вспоминать вот эту дорогу и даже этот песок.

Слова его проскакивают мимо моего сознания. Они нисколько не мешают мне видеть длинный, как коридор, школьный зал, серьезную старшеклассницу в очках по имени Дина и слышать вальс Хачатуряна. Вот тогда я был счастлив.

... – Ты помнишь наши марш-броски? – спросил меня Даня шесть лет спустя.

– Помню.

– Хорошее было время.

Он очень изменился за эти годы. То ли вытянулся, то ли современная прическа подправила его облик, но прежняя несимметричность исчезла. Я приехал к нему на Дальний Восток во время отпуска, и мы трое суток прожили в тайге на берегу реки. Один берег у нее был скалистый и весь седой. Словно годы не обошли своей метой даже камень.

– Хорошее было время, – повторил он.

Мы всегда говорим: «Вот раньше...» Всегда торопимся в завтра, упуская, что обычный сегодняшний день станет золотым вчерашним. Вот и тогда сидели у костра и не подозревали, что скоро эти минуты покажутся счастливым сном...

Шарик земной крутится, вертится. Вчерашний день не вернуть, как не вернуть из прошлого самого себя.

– А с Диной у тебя как? – спросил в ту встречу Даня.

Это она пришла в мою жизнь из длинного, похожего на коридор, школьного зала. Пришла за много лет до того, как из весеннего дождя выросла девчонка, спеленатая мокрым платьем.

Лейтенантские звезды

Служить мы с Серегой попали в Житомирскую область. Разве могли мы тогда предположить (а кто бы мог?), что через тридцать пять лет Украина станет самостийной, и это приведет страну к гражданской войне? Украинцы станут убивать друг друга. Возродится бандеровщина, а бывших карателей, воевавших на стороне Гитлера, киевская власть объявит национальными героями. А москали, то бишь такие, как мы, станут главными врагами Киева.

Жители относились к нам прекрасно. Они еще помнили войну, оккупацию. Ухаживали за могилами фронтовиков и поминали погибших.

Наш полк дислоцировался в паре километров от деревни Лугинки. Прямо за околицей начиналось поле, затем бугор и опять поле. И уж потом глазу открывалось двухэтажное здание – штаб полка. Поодаль от него параллельными рядами стояли приземистые казармы в стиле барака. Ближняя к штабу была наша.

Меня распределили в батарею управления и назначили начальником станции кругового обзора. Мы называли ее ласково «Мостушкой». Было у нее похожее условное наименование: «МОСТ-2». Предназначалась она для ведения воздушной разведки и целеуказания. В станции были установлены индикатор кругового обзора и индикатор для определения угла места цели. Они давали возможность отследить самолет противника на расстоянии 140 километров. Мелочь, конечно, по сравнению с нынешними локаторами. Но ведь и скорости были иными. Мостушки-старушки давно сняты с вооружения. Но тогда наша станция считалась вполне на уровне.

Расчет станции был подразделением взвода разведки. Раньше взводом командовал старлей из фронтовиков. Месяц назад он уволился в запас, а нового не прислали. Временно исполнять его обязанности приказали мне, потому что по штатному расписанию командовать взводом должен офицер. Впрочем, реальной нужды в этом не было. С взводом успешно справлялся старший сержант Заречный, тоже из фронтовиков. Мне хватало забот и со станцией кругового обзора.

«Мостушка» представляла собой зеленую коробку на колесах с выброшенной вверх ромбовидной антенной. Если на позицию шел самолет противника, на экранах появлялась отметка от цели. Оператор считывал ее дальность и азимут и передавал на станции оружейной наводки. Конечно, цель надо было сначала поймать. А уж это целиком зависело от расчета, то есть от нас. Так я и сказал при первом знакомстве подчиненным, выстроившимся возле станции. Речь свою я приготовил заранее, и получилось как будто неплохо. Потому, высказавшись, стал всматриваться в лица. Хотел определить, какое впечатление произвело мое ораторство.

Ничего не определил. Лица как лица, глаза как глаза. На правом фланге сержант Марченко, сутуловатый и длинноногий. На левом – щупленький, белобрысый, с морщинками на лбу солдатик. Что-то в нем мне не понравилось. Вроде бы и ремень затянут как положено, подворотничок чистый, пилотка на месте... Снова вернулся взглядом к Марченко. Спросил:

- Вопросы есть?
- Так точно, – сразу же откликнулся белобрысый левофланговый.
- Представьтесь, как положено по уставу, – потребовал я.
- Рядовой Гапоненко, оператор станции кругового обзора.
- Слушаю вас.
- Разрешите узнать, вы женаты?

Я мог ожидать любого вопроса, только не этого. Вместо того, чтобы внушительно ответить: «К службе это не относится», я буркнул:

– Никак нет.

И сразу же понял, чем этот Гапоненко мне не понравился: нахалинкой. Она сквозила во всем его облике: как стоял, как смотрел, как держал руки...

После знакомства мы прошли в кабину станции. Я включил питание, щелкнул тумблером, сделал все, что полагалось по инструкции. Но на экране вместо знакомой развертки закаруселила выюга.

– Так-с, – сказал я, – посмотрим, в чем тут загвоздка.

Открыл один блок, второй, третий. Пробормотал: «Н-да, дело нешуточное». Достал схемы, разложил на полу станции и вслух стал рассуждать, куда и откуда поступает сигнал от имитатора цели. Гапоненко сочувственно поддакивал. А незадолго до обеда произнес с ощутимой ехидцей:

– Разрешите, я посмотрю?

– Попробуйте, – великодушно разрешил я.

Он выдвинул один из блоков, ткнул отверткой туда-сюда.

– Можно включать, товарищ лейтенант.

Скорее механически я защелкал тумблерами, нисколько не веря, что неисправность устранена. Однако по круглому индикатору побежал тонкий лучик. Станция работала нормально. Хорошо, что в кабине было темно, и никто не видел мою растерянность.

Не сразу я узнал, что он заранее подстроил неисправность, чтобы проверить салагу-лейтенанта. В училище нас с этим типом станций лишь ознакомили. Даня Бикбаев после того, как ветреная Ольга перескочила к Сергею, сам вызубрил всю теорию по «Мостушкам». А мне пришлось доучиваться на месте.

Целыми сутками я торчал в кабине, уткнувшись в схемы и переплетения проводов. Обратиться бы за помощью к тому же Гапоненко – он не просто знал станцию, а был с ней чуть ли не в любовных отношениях. Но я сухо попросил его не вмешиваться, когда он однажды сам попытался что-то мне подсказать. Впрочем, произошло это не только из-за самолюбия. Наши отношения к тому времени успели настолько осложниться, что я просто не мог принять его снисходительную помощь.

Через неделю после нашего первого общения он подошел ко мне, доложил по форме и объявил, что собирается жениться. Как поступать в таких случаях, я понятия не имел. Потому торжественно произнес:

– Желаю вам счастья!

– Мне бы сначала увольнительную, – скромно улыбнулся Гапоненко.

– Да-да, – сказал я и сунул руку в карман.

Командир батареи дал мне два бланка увольнительных записок, которые я мог использовать в особых случаях. Вот и появился особый случай.

– В общем-то, я еще не в загс, – сказал Гапоненко. – Пока родителям ее представиться. Они специально для этого приехали.

– До отбоя хватит? – спросил я.

– Так точно...

Когда прошла вечерняя поверка, и до отбоя оставалось пятнадцать минут, старшина-сверхсрочник из фронтовиков спросил меня:

– У вас Гапоненко не жениться отпрашивался?

– Жениться. А что?

– Готовьтесь к ОВ, товарищ лейтенант, – сочувственно произнес он, имея в виду «очередной втык».

– За что ОВ? – спросил я

– Прошлый раз, когда он был в самоволке, тоже говорил, что женится.

У старшины было четыре класса образования, четыре фронтовых ордена и четверо детей. Он любил непонятные умные слова и частенько вставлял их в разговор невпопад. Звали его Терентий Павлович. Офицеры и комбат обращались к нему по отчеству – Палыч. Солдаты между собой тоже называли его Палычем. И частенько цитировали его крылатые выражения: «Грязный подворотничок – это источник заразы и венерических болезней», «Эти тумбочки и кровати, и еще перловую кашу вам придется любить три года».

На солдат Палыч никогда не орал. Провинившихся не распекал, а поучал. Да и салаг лейтенантов мог подправить советом. Если бы такие старшины-сверхсрочники сохранились до наших дней, не было бы в армии ни дедовщины, ни плутовской демократии, что расплодилось позже.

– Что же делать? – спросил я старшину.

– Ждать. Авось явится вовремя. Из беспризорников Гапоненко – скидку на это надо. Не дай Бог, подполковник Хаченков узнает, тогда и вам, и мне взыскание.

Хаченков был командиром полка. Мы называли его между собой Хач. Я спросил:

– Давно он полком командует?

– Второй год. После академии назначили. Пороха на фронте не нюхал, вот и не знает, как к подчиненным относиться. Не вешай нос, лейтенант! Если твой солдатик не явится, экстрого доложи комбату, – все-таки ввернул словечко старшина. – Он мужик тертый, скажет, что делать.

Трубач сыграл «отбой», а моего подчиненного все не было. И я о его отсутствии доложил комбату. Гапоненко опоздал на полчаса и явился навеселе. Командир батареи управления капитан Шаттар Асадуллин прибыл разбираться самолично.

Пожалуй, с комбатом мне повезло. Мало того, что по пустякам не придирался, так еще и земляком оказался: тоже из Башкирии. Он успел захватить войну, получить медаль «За отвагу» и послужить в побежденной Германии. Отличившегося в боях сержанта послали на краткосрочные офицерские курсы. Через три месяца сержант стал младшим лейтенантом, и дорос в итоге до капитана. По-житейски мудрым был наш комбат. Подчиненных в обиду не давал. Сам казнил и миловал. Втык от него я, понятно, схлопотал. Устный и частный. Докладывать начальству о ЧП он не стал, и нам велел молчать в тряпочку.

Жили мы с Серегой на частной квартире у колхозного конюха тети Маруси. Домой приходили поздно. Мылись, брились. Тетя Маруся доставала из подпола бутылку вонючего чемергеса из бураков, ставила на стол чугунок с картошкой в мундире и миску с солеными огурцами. Мы принимали на грудь по неполному стакану, заедали хозяйским угощением и садились готовиться к завтрашним занятиям. Вернее, садился, в основном, я. Серега чаще отлеживался или смывался из хаты. Занятия он ухитрялся проводить и без предварительной подготовки.

В субботу вечером мы отправлялись к церкви. Там, на небольшом пяточке, местные барышни устраивали танцы. После богослужения к танцорам присоединялся и батюшка, парень лет двадцати пяти по имени Андрей. Был он худой и долговязый, и, в общем-то такой же, как и все. Сергей заводил с ним разговор:

– Ты зачем в попы подался, Андрей?

Тот отмахивался и скалил зубы. А Серега допытывался:

– Из-за денег, да? – И не получив ответа, подъезжал с другого бока: – Ты хоть в Бога-то веришь?

Батюшка опять скалил зубы, и, в конце концов, Серега прозвал его Скалозубом.

Может быть, Скалозубу дали нагоняй за непоповское поведение, или по какой другой причине, но вскоре он обзавелся матушкой, привез со станции широкозадую Таньку-буфетчицу и остепенился.

Я тоже собирался во время отпуска «остепениться», но то было за дождями и метелями, будущим летом.

«Не загадывай, а то не сбудется», – сказала Дина в мой первый лейтенантский отпуск. Мы тогда были на даче ее родителей совсем одни. Сквозь занавеси на окнах просачивался лунный отсвет. На белой подушке ее лицо в обрамлении темных волос выглядело загадочным, как у Моны Лизы.

– Ты ведь можешь потерпеть? – шепотом спросила она.

– А ты? – тоже шепотом произнес я.

– Побереги меня, Лёня. Для себя побереги.

Мы не спали всю ночь. Лежали, тесно прижавшись друг к другу. А ранним утром убрели по берегу тихой речки-чистюли Дёмы. Редкие паутинки висели в воздухе, и до кружения в голове пахли луговые цветы.

Просигналил гудок служебной отцовской машины.

– Мама приехала, – сказала Дина...

Она была примерной дочерью и совсем не примерным адресатом. Конверты летели только в одну сторону. От нее я получил всего два письма. Бывали дни, особенно после командирского втыка, когда наваливалась хандра. Тогда, вернувшись со службы, мы выжирали с Сергеем бутылку чемергеса. Он жаловался:

– Изменили мы, Ленька, синим зайцам! Там, понимаешь, хоть тайга и сопки. А тут голый чер-рнотем.

«Чернозем» звучало у него как ругательство.

Я уже понял, что мы свалили дурака. Мне даже приснилась однажды горная река, схваченная голубыми скалами. На самой вершине прижался к камням синий заяц. Сергей целил в него из карабина и никак не мог выстрелить. Потом заяц вдруг взвился в воздух и медленно полетел вдоль русла.

Я описал Сергею сон, и он ни с того ни с сего сказал:

– Возьму и вызову Ольгу.

– Не вызовешь, – возразил я.

– Правильно, не вызову. Тут бабья – хоть каждую ночь меняй...

Что бы ни было накануне, Серега вскакивал в пять утра, скидывал с меня одеяло и оглушительно орал:

– Подъё-ом!

Мы бежали к пруду, два километра в один конец. Впереди – Сергей, за ним – я с одной единственной мыслью: «И зачем мне это?» Сергей с размаха плюхался в пруд, успевал окатить меня водой, и лишь тогда я окончательно просыпался.

Была суббота, когда в полночь за мной примчался посыльный. Я вернулся со службы всего-то пару часов назад, все старался подружиться с «Мостушкой». А тут – нате! – посыльный. Меня вызывают, а Сергея – нет! Он успокоил:

– ОВ тебе светит, Ленька.

Едва я проскочил КПП, как наткнулся на старшину.

– Хаченков в штабе, – сообщил он.

Командир полка сидел за столом в своем кабинете. Низенький, плотно спрессованный, он держал фуражку в руках. Это был сигнал опасности. Фуражку он снимал лишь в минуту крайнего раздражения, так что мне представилась возможность разглядеть аккуратный зачёс, прикрывающий раннюю лысину и округлые уши-локаторы.

– Рассказывайте, Дегтярев, как вы воспитываете своих подчиненных! – рыкнул Хач.

Азы службы я уже усвоил. Пялясь ему в глаза, громко выпалил:

– Виноват, товарищ подполковник!

Это смягчило его. Но фуражку он еще не надел.

– Распустили личный состав! К девкам со службы торопитесь!

– Так точно! – выкрикнул я.

Хач надел фуражку, и мне полегчало.

– Садитесь в мою машину и за Гапоненко! Найти и привезти! Сорок минут сроку!

Я вспомнил, что утром Гапоненко подходил ко мне и просился в увольнение. «Не жениться ли?» – ехидно спросил я. И, конечно же, отказал.

– Спасибо, товарищ лейтенант, – проговорил он с кривой усмешкой...

Искать Гапоненко я отправился в Лугинки. Там, на ферме, как сообщил старшина, работала его симпатия. Подъехал сначала к клубу, но на дверях висел амбарный замок. Какая-то пара шарахнулась от автомобильных фар. Мы остановились, и я крикнул в их сторону:

– Гапоненко!

– Вали отсюда, пока в глаз не получил! – совсем даже невежливо откликнулся чей-то бас.

И я «повалил» на ферму. Но и там застал лишь бабку. Отпущенный командиром срок истекал, и мне ничего не осталось, как возвратиться в полк.

Гапоненко уже стоял перед подполковником. Сам объявился через дыру в заборе и, похоже, виноватым себя не чувствовал.

– Десять суток ареста! – объявил Хач. – А вам, лейтенант, выговор в приказе «за слабую воспитательную работу с подчиненными».

Старшина посочувствовал мне:

– Не переживай, лейтенант. Если бы Гапоненко не привел себя в нетрезвое состояние, может, и обошлось бы. А выговор, как репей на штанах. Снял – и нету! Привыкай...

«Зеленая мыльница!»

Примерно через неделю Хач появился в нашей казарме еще до подъема, когда там были только старшины. Приказал офицеров не вызывать, а личному составу сыграть тревогу. Солдаты с полной выкладкой выстроились на плацу. Хач дал сержантам команду на пятикилометровый марш-бросок, а сам вернулся в казарму и устроил шмон.

Это были последние часы Серегиной безвестности. Еще не зная о проверке, мы прибыли в полк и сразу же попали на разбор полетов.

– Лейтенант Толчин! – вызвал подполковник.

Сергей вскочил с места и замер.

– Посмотрите на него! – сказал Хач, и мы уставились на Сергея, ожидая ОВ. – Молод? Да! Проходит период командирского становления? Да!

Тревога в воздухе сгустилась. Сергей был взведен, как курок. Хач сделал паузу и объявил:

– Мал золотник, но дорог!.. Обобщить опыт с зеленой мыльницей!

Сергей облегченно выдохнул воздух и отчеканил:

– Слушаюсь!..

Все объяснялось просто. Дня за четыре до этого бойцам выдали положенные им три рубля, таким было в ту пору солдатское жалованье. Сергей дал команду сержанту изъять половину и приобрести на эти деньги одинаковые сапожные щетки, мыло и зеленые мыльницы.

– Почему зеленые? – спросил я его вечером, когда мы топали по темному полю.

– Солдатский цвет, – ответил он.

– Вот и догадайся, где найдешь, а где потеряешь.

– Помнишь, Ленька, как Хач встретил нас?.. «Солдат все должен делать по стандарту, и в единообразии видеть смысл красоты!» – передразнил он очень похоже подполковника. – Вот я и устроил единообразие.

– Химик ты.

– Ага, – согласился он. – А то ли еще будет!

Все-таки нахалом был Серега. Всегда хотел быть на виду. И не скрывал этого. Говорил, что надо иметь задел на будущее.

Но ведь и по-другому было! Я всегда помнил тот случай в училище, когда он вытащил меня из дерьма. Как на сцене выступил, хоть и пошел против старшины Кузнецкого. А ведь тоже напоказ: глядите, какой я честный.

– А ты карьерист, Серега, – сказал я ему уже дома.

– Ага, – с готовностью согласился он. – Служба обязывает. Ты же не против стать когда-нибудь генералом?

Я промолчал, хотя и был не против.

– Чудно вы балакаете, – вмешалась тетя Маруся, вязавшая у печки носки. – Вроде, как ругаетесь.

– Не ругаемся, мамаша, – Сергей с первого дня нашего квартирантства стал ее так называть. – Ругань для нас – роскошь.

– Роскоши у вас кот наплакал, – отозвалась она. И тут же спохватилась: – Ой, Лёничик! Письмо тебе. Нет, не от нее, мужское. Почтальонша еще утром принесла.

...«Здравствуй, дорогой друг Леня! Узнал у твоей матери адрес и шлю тебе таежный привет. Как ты там, в теплых краях? Может, уже женился? Тебе бы невесту попроще, все-таки по гарнизонам придется мотаться. Я тебе и раньше хотел об этом сказать, да всё не решался. Ну, да не мне судить...

У меня все нормально. Собираюсь менять специальность, догадываешься, что к чему?.. Да и у вас, наверно, то же самое... Посылаю тебе посылку с кедровыми шишками... Твой друг Даниял Бикбаев».

Ах, Данечка, стриженная головушка! Разыскал все же, отозвался из своего дальнего далека!.. Нет, Даня, не женился я. На потом отложила это дело моя Дина... Намек твой насчет специальности я понял. У нас тоже поговаривают о переучивании на ракетные комплексы. А когда и где – никто толком не знает: секрет!.. Так что считай, завидую тебе белой завистью... Нет, Даня, у нас ни кедров, ни синих зайцев. Есть недалеко лес, куда я так ни разу и не выбрался. Всё мое время уходит на Мостушку. И еще есть у меня рядовой Гапоненко – вот уж послал черт подчиненного!.. И есть рядом Серега Толчин, о котором ты в письме даже не упомянул...

Осень приползла дождливая, сыкотная, грязная. Мы не успевали мыть, сушить и начищать ваксой сапоги. И на рядового Гапоненко, видно, осень подействовала: он приутих, исчезла из его глаз нахалинка. Мне даже иногда казалось, что вместо нахалинки в них поселилась тоска.

Мой помощник сержант Марченко говорил:

– Как бы не учудил чего Гапоненко!

Я попытался как-то вечером поговорить с ним, но он глянул с непонятной для меня укоризной и сказал:

– Индивидуальную беседу, значит, решили со мной провести. Беседуйте!

И на все вопросы отвечал:

– Никак нет...

Да я и сам понял, что не получается разговора, и вряд ли вообще получится. Между нами стояла стена, которую ни свалить, ни даже пощупать. Настроение от этого сделалось хуже некуда, и я показался себе беспомощным, как кутенок, которого кинули во взрослую собачью стаю. Наверное, Гапоненко почувствовал мое состояние, я уловил даже какое-то сопереживание в его глазах. После чего он вдруг спросил:

– Что вас, товарищ лейтенант, с Зеленой Мыльницей связывает?

– С какой еще «мыльницей»?

– Разве вы не знаете, что у вашего дружка такое прозвище красивое?

– У лейтенанта Толчина, что ли? – уточнил я, хотя уже понял, что речь о нем.

Значит, прилепилась-таки зеленая мыльница к его имени. Наверное, любой, даже самый маленький поступок оставляет след: в памяти ли, в жизни ли, в психологии человека. Интересно, знает Толчин о своем прозвище или нет? Пожалуй, нет, потому что к этому времени мыльницы ушли для него в прошлое, а сам он летал на крыльях почина.

Случилось это так.

Мы с ним в числе нашей полковой делегации ездили на армейскую комсомольскую конференцию. Еще до отъезда он стал задерживаться на службе. О чем-то шептался с комсомольским секретарем Лёвой Пакусой. Вместе они бегали в штаб к замполиту. Даже дома он что-то писал, комкал листы, швырял на пол и снова писал.

На конференции речи с трибуны катились гладкие и круглые. Почти каждый из ораторов заверял в чем-то настолько неконкретном, что слова не затрагивали сознание сидящих в зале, а может быть, и в президиуме.

Наконец, слово предоставили лейтенанту Толчину.

– Я уполномочен комсомольской организацией нашего полка доложить следующее, – так начал Сергей. И, очень четко выговаривая слова, не заглянув ни разу в бумажку, произнес речь.

Все его подчиненные брали обязательства стать отличниками боевой и политической подготовки, спортсменами-разрядниками. Все обязались овладеть смежными специальностями в расчетах. И больше того, получить классность по совсем уж посторонней (впрочем, нужной!) специальности химика-дозиметриста. Еще они обещали разбить на территории городка комсомольскую аллею.

Красиво говорил Сергей! Даже я заслушался, увлекшись словами о корчагинской вахте и традициях, которые должны стучать в сердце. Говорил-то красиво, но замахнулся, подумалось, явно не по силенкам. И тут же вспомнил наш разговор после зеленых мыльниц, его фразу: «То ли еще будет!» Вот, оказывается, что он имел в виду. Значит, сказал не для красивого словца. Значит, уже приготовил свой сюрприз конференции.

В перерыве его в чем-то горячо убеждал корреспондент окружной газеты. Сергей с улыбкой слушал и не соглашался. Но я знал его очень хорошо и видел, что не соглашался он нарочно: не купишь, мол, за рупь двадцать!

Наконец, он утвердительно кивнул и солидно пожал руку корреспонденту...

– Ведь липа, Серега, а? – спросил я его по возвращении домой.

Мы сидели друг против друга. На столе ядреные соленые огурчики. Тетя Маруся, хозяйка, примостилась на табуретке возле печки. Смотрела на нас, подперев ладонью щеку, и слушала внимательно и непонимающе. Он похохатывал, с хрустом закусывал огурцом. Что-то появилось в нем новое. Этакая снисходительность ко мне.

– Зачем трепаться-то? – повторил я.

Он снова хохотнул и, наконец, снизошел. Именно снизошел, я почувствовал это.

– А ведь я прав, Лень. Пусть даже только половина моих людей станет отличниками, дозиметристами – разве плохо?

У него потрясающее умение не отвечать на вопрос конкретно. Я всегда ловил себя на том, что вроде бы он все говорит правильно, а я не соглашаюсь с ним.

– Ты слухай, Ленчик, Сергея. Бачь, який вин справный, – вмешалась тетя Маруся.

Сергей, точно, был справный. Все на нем ладно: и гимнастерка, и портупья, и сапоги сидят как влитые. Словно и родился в форме. Хаченков про него сказал: военная косточка.

Я замолчал, обиженный его снисходительностью. Ковырял вилкой жареную картошку, думая о том, что все было бы не так, сиди рядом с нами Данька. Сергей не выдержал моего молчания, отодвинул от себя тарелку, произнес:

– А насчет «трепаться» – поговори с замполитом. Он объяснит тебе все про сообязательства. И еще спроси его: как совместить эти самые обязательства и уставы, где все расписано, кому и что положено и в каком количестве. Ну что, слабо?

Он опять ушел от конкретики, опять втравливает в старый, еще училищный спор. Я, конечно, помню, как мы тогда, посмеиваясь в кулаки, говорили с серьезным видом:

– Товарищ Толчин, вызываю вас на социалистическое соревнование.

– Я принимаю ваш вызов, товарищ Дегтярев, и беру на себя следующие обязательства...

– Товарищи курсанты, – предупреждал перед проверкой наш командир взвода, спортсмен. – Зайдите в ленкомнату, посмотрите свои обязательства, чтоб не ошибиться, если спросят. Не вздумайте забыть, с кем соревнуетесь!..

Все так. Но ведь и другое было.

Я глянул на Сергея. Он уставился на меня в ожидании и в готовности прекратить этот серьезный и вроде бы бесполезный разговор. Да, было однажды и так, что курсант Толчин орал на всю батарею, что у второго расчета сошки не вбиты, и требовал все начать сначала. Это было перед стрельбами. Командир взвода внял его воплям, скомандовал: «К бою!» – и запустил секундомер. Рвали с орудий чехлы, отбрасывали станины, на лице смешались пыль и пот. И опять наш второй расчет опередил расчет Толчина. Разве это не соревнование?

Мы грызли те секунды зубами. Мы взвешивали каждое движение. Мы подсчитывали время, как скупец считает копейки. И говорили: «Еще есть 12 секунд... есть еще 17...» И когда Стаська Давыдов применил свою рационализацию, и мы прихватили в свой актив целых полминуты – это был праздник нашего расчета. А потом, когда вся батарея получила эти 30 секунд форы, был праздник для всех. И Сергей тогда сказал безо всякой рисовки:

– Эти секунды в бою – фора для жизни.

Правильно сказал. Я бы не смог так. У меня слова, как чурки: сложу их в кучу, а огня нет. Когда думаю, вроде бы все получается правильно, а выскажусь – совсем не то. Потому лучше ничего не говорить.

– Я же не отделяю себя от всех, Ленька! – в его голосе появились оправдательные нотки. – Я же для людей! Ведь то, что мы обещали, станет рубежом для всех! Пусть все лезут вверх! Пусть хоть до половины! Все равно пройденного будет много. Значит, польза, так?

– Кому польза, Сергей?

– На меня намекаешь?

– На тебя.

– Не только мне польза. Всем...

В воскресенье в полку был укороченный рабочий день, и домой мы явились еще засветло. В гостях у тети Маруси была соседка. На столе стояла ополовиненная бутылка казенной «Горилки». Они уже приняли на грудь. Сидели, обнявшись, и на два голоса пели «Мисяц на нэби, зироньки сяють...».

Нас тут же пригласили за стол. Тетя Маруся поставила два стакана, плеснула в них горилки, сказала:

– Дусину дочку поминаем. Тринадцать годков, как ее нет.

– Умерла? – спросил я.

– Повесили ее бандеровцы, партизанкой была.

Помянули. Соседка Дуся всплакнула. Проговорила сквозь слезы:

– Мало я их пожгла.

– Она хату подпалила, где бандеровцы остановились, – объяснила тетя Маруся.

Вот она, война! Прошло одиннадцать лет после Победы, а она всё дышит, обжигает потерями. И вряд ли раны зарубцуются.

Тетя Маруся слазила в подпол, достала бутылку чемергеса.

– Только на буряках и картохе выжили в оккупацию, – сказала она, ставя бутылку на стол. – Корову и поросенка немцы забрали. Курей полицаи переловили...

Утром, шагая по полю в полк, я сказал Сергею:

– Бессовестные мы с тобой.

– Чего вдруг?

– Тетя Маруся нас кормит, поит, а мы ей – ничего.

– За квартиру платим. А за еду она отказалась от денег. Я предлагал.

– Давай ей корову купим? Съездим на скотский базар в Коростень и купим.

Сергей с некоторым недоумением посмотрел на меня. Затем оживился и воскликнул:

– Хорошая идея, Лёнька! Не возражаю. Только как мы ее покупать станем? Ни ты, ни я в коровах не разбираемся.

– Я старшину попрошу с нами съездить. Он до войны в колхозе работал.

– А я у командира полка грузовик выпрошу. Надеюсь, мне он не откажет...

Задумано – сделано. В воскресенье, после полудня, у мазанки тети Маруси остановился грузовик. Самой хозяйки дома не было, колхозные заботы призывали ее на конюшню. Старшина аккуратно свел купленную буренку по сходням на землю. Собравшаяся вокруг ребятня с любопытством взирала на происходящее. Самый шустрый из них спросил:

– Чья скотина?

– Тети Марусина, – ответил я.

Старшина достал из кармана кусок хлеба:

– Пожуй, Феня, – и погладил голову буренки.

Затем завел ее во двор, занес сходни.

– Сколотите потом загончик для Феньки. – Попрощался с нами и укатил в полк.

Наверно, тете Марусе кто-то из ребятни сообщил про корову. Она прибежала, запыхавшись. Бухнулась перед нами на колени и запричитала:

– Сыночки вы мои миленькие! Спасибо вам, родненькие!

Мы подняли ее, усадили на кровать. Серега достал платок, вытер ей слезы. Она продолжала всхлипывать.

– И отблагодарить-то вас нечем!

– Чемергесом, мать, – сказал Сергей. – Обмоем покупку, и мы с Лёней начнем делать загон для буренки по имени Фенька...

Серега купался в лучах славы. Еще в первом номере окружной газеты с его портретом журналист вознес его до небес. Даже про синюю птицу не забыл: мечтает, мол, лейтенант Толчин ухватить ее за хвост. И пошло. Почин лейтенанта Толчина подхватывали молодые офицеры со всего округа. Я старался быть от этой шумихи в стороне, пока не прочитал в субботнем номере заметку, напечатанную под рубрикой «У инициаторов». В ней сообщалось, что лейтенант Толчин и его сослуживец лейтенант Дегтярев купили на свои сбережения корову для местной жительницы, пережившей оккупацию.

– Ты с ума сошел! – сказал я Сергею. – Зачем ты это в газету тиснул?

– Разве не правда?

– Но ведь не для газеты мы Феньку покупали!

– Не вижу ничего плохого в публикации. Пусть люди знают, что советские офицеры всегда готовы помочь местным жителям. Может, кто-нибудь последует нашему примеру.

– Еще один почин?

– Понимай, как хочешь.

Все правильно говорил Сергей. А я испытывал раздражение. Оно не покидало меня до субботы. Каждую вторую субботу месяца личный состав полка отправлялся в баню с парилкой. Офицеры тоже. Банный день именовался санитарным. И был почти нерабочим.

Сергей уже был дома. Их батарея отбанилась перед нашей. Тетя Маруся быстро накрыла стол. Помимо привычных чемергеса, соленых огурчиков и картошки, она пожарила курицу. Села с нами за стол, выпедила, не поморщившись, свои обычные полстакашка и, подперев щеку ладонью, слушала, о чем мы говорили.

– Ты же не исполнишь свои обязательства! – сказал я.

– А никто никогда и не выполняет. Это игра.

Сергей хохотнул. Последнее время он стал почему-то похохатывать. Плесканул еще в стаканы. Хозяйка прикрыла свой ладонью: будя! Я с отвращением глотнул шибяющий в нос чемергес, запил огуречным рассолом. Вонь исчезла, а в грудях захорошело. Почувствовал себя уверенным, решительным и бескомпромиссным.

– Брехать-то зачем, Серега?

– Не будь Христосиком, Ленька. И кончай занудствовать.

Он разлил остатки и намекаяюще глянул на тетю Марусю.

– А не лишку буде? – спросила она.

Мы оба замотали головой: не лишку!

Она слазила в подпол, достала еще бутылку, заткнутую тряпицей. Сказала:

– И мне капелюшечку.

Она выпила свой глоток, мы приняли по полстакана. В голове моей стали плавать рыбки. Но я все равно чувствовал, что соображаю нормально. А значит, абсолютно трезвый. И должен сказать Сергею что-то веское, чтобы он понял, что неправ, и его социалистические обязательства вместе с почином – обман. Наконец, я изрёк:

– В разведку бы я с тобой не пошел!

– Ха-ха, – опять хохотнул он. – Такие, как ты, в разведку не годятся.

– Это я не гожусь?

– Ты.

Я начал заводиться. Возникло желание плюнуть в его породистую физиономию. Или врезать по губам, как когда-то в курсантском кубрике. В то же время я соображал, что надо оставаться в равновесии. Кричать и дергаться – значит, показать свою слабость.

– Знаешь, кто ты есть? – почти спокойно спросил я.

– Ну?

– Гнида!

– А ты – болван, – хохотнул он.

– Вы чего, хлопцы? – вмешалась тетя Маруся. – Драку затеваете? Ленчик, тебя же Сергей задавит!

Меня в тот момент никто не мог задавить. Я ощущал себя могучим и сильным.

– Сережа, – жалобно произнесла хозяйка. – Це не вин балакае, а вино. – И мне: – Успокойся, Ленчик. Сергуня тебе добра желает.

Она всем хотела добра, наша хозяйка. Муж ее пропал в войну без вести, осталась бобылкой. В мамки она нам не годилась. Разница в годах была лет семнадцать, не больше. Просто она усохла и сморщилась без мужика. Выбила война сельских мужиков, и некому было приголубить баб.

– Иди спать, Леонид! – сказала тетя Маруся.

Но я уперся: не хочу спать. Сергей тем временем опростал бутылку, налил себе больше, чем мне.

– Поровну! – категорически возразил я.

Он не возражал. Я проглотил свою порцию. И отключился.

Утром Серега чуть растолкал меня. От пробежки к пруду я отказался, и он убежал один. Во рту у меня будто ночевал поросенок. Я блукал по хате, как сонная муха, пока тетя Маруся не налила мне кружку холодного рассола. Я слегка пришел в себя, но в сравнении с Сергеем выглядел мочалкой.

Служба в тот день мне медом не казалась. Даже Дину ни разу не вспомнил, и вылетел из головы Гапоненко.

Танька-попадья

Лихо отплясали в сельской чайной Новый год. С вечера Серегу увела костлявая и сексуально озабоченная фельдшерица. Нашу пьяную размолвку мы с ним, словно уговорившись, не вспоминали.

Зачастила письмами Серегина Ольга. И совсем перестала писать Дина. После службы я бегом спешил домой, и первое, что слышал от тети Маруси:

– Нету письма, Леонид.

Дина не ответила на шесть моих писем. И я ворошил свою память, словно подгнившее сено.

...Дождь, дождь, дождь. В их огромном подъезде сухо и гулко. Я стою у стены в мокром обмундировании с курсантскими погонами. И она с зонтиком и сумкой-портфельчиком.

– Я же говорила тебе, встретимся у скамейки. А ты сюда... Вдруг увидит кто?..

...Нет дождя. Под ногами сухие и хрусткие листья в скверике. Мы с Диной бредем по безлюдной аллейке. В моей голове крутятся стихотворные строчки: «И, как много лет назад, уведу вас в листопад, в тихо осыпающийся сад». Она остановилась, повернулась ко мне. Потрогала золотистый погон на моем парадном мундире.

– Подожди до лета, Лёнь. Я приеду к тебе, куда скажешь...

Почему я не могу вспомнить ее глаза? Вижу лоб, завиток возле уха. А глаз не вижу... И еще вижу дачную комнату, лицо в обрамлении рассыпанных на белой подушке черных локонов. Зачем было воздерживаться в ту ночь? Я же чувствовал, что ей тоже не вмоготу. Глупый, глупый смешной дуралей! Вот и беги теперь за паровозом, унесшим с собой вчерашний день!

Стой, планета, кончай крутиться!

А она все крутится. Я вижу, как Дина уходит. Куда? Чуть приподняты плечи. Опушены руки. «Я не знаю, куда девать руки. Мне обязательно надо что-нибудь нести...».

– Нету письма, Ленчик! – виновато говорила тетя Маруся и утешала: – Здалась вона тебе така-сяка? Вон дивчата яки без хлопцев страдают!

Что поделать с этим «нету»? Отпуск мне не дадут, отпуска по графику. По семейным обстоятельствам – Хач не отпустит. Да и нет их, семейных обстоятельств.

Серегу на все лады костерил Дину и по-своему проявлял обо мне заботу:

– Давай уведем у попа Таньку! Она же давно глаз на тебя положила!

Я и сам это заметил. Бывшая буфетчица совсем не годилась на роль матушки. Та же бойкая бабенка, тот же манящий взгляд, которого я старался не замечать.

– Не дрейфь, – не унимался Сергей. – Матушкиным любовником станешь. У меня фельдшерица, а у тебя, ха-ха, матушка.

Я отмахивался, но от его шуток становилось легче.

Однажды, в выходной, когда тетя Маруся повезла в район одноногого агронома, Серега исхитрился привести Таньку в гости. Выставил на стол банку тушёнки и бутылку казенной, не угощать же гостью чемергесом.

Бывшая буфетчица не чинилась. После первой зарумянилась, расстегнула ворот кофточки, в которой явно тесно было ее роскошным грудям.

Бутылку мы опростали без спешки, после чего Серега быстренько собрался и сказал:

– Я отвалил. Ты, Танюха, смелее с ним, а то он шибко скромный.

Едва он захлопнул дверь, как она подошла ко мне, прижалась. Голова моя пошла кругом, и намерение сбежать улетучилось. Я не отшатнулся от нее. Она впилась в мои губы, и мы свалились на кровать.

Опыта в этом деле у меня не было. Но ее умения хватило, чтобы я не промахнулся. Однако уплыл со скоростью снаряда и стыдливо сполз с нее. Она погладила меня, как ребенка, и успокоила шепотом:

– Отдохни. И разденься. На втором заходе не торопись.

Встала. Сбросила с себя все одежды. Тело ее так и дышало спелостью. В нем всего было с избытком: могучая грудь с темными сосками, зад шириной с комод и курчавые рыжеватые волосы чуть ли не до пупка. Наклонилась, стянула с меня брюки и все остальное. Легла, притиснувшись ко мне горячим телом. Стала оглаживать пальцами всего. Через малое время я снова был в боевой готовности. И по ее совету не торопился. Она извивалась, постанывала, шарил руками по моей спине и по ягодицам, втягивала в рот мои губы и язык. Вдруг лицо ее исказилось, и в тот момент, когда я снова поплыл, она испустила долгий утробный вопль...

А минут через пять деловито сказала:

– Мне домой пора, Ленчик. Через час батюшка на обед явится, кормить надо.

И я вернулся с грешного неба на землю. Она, не торопясь и повиливая могучей кормой, оделась. Махнула по волосам гребенкой. Сказала:

– Будет желание, дай знак, – и ушла...

Желание у меня было. Но знака ей не подавал: совесть терзала. Как я встречусь теперь с Диной? И появилось дурное предчувствие, что не будет обещанного Диной следующего лета. И вообще ничего не будет.

Зато точно знал, что никуда не денутся от меня рядовой Гапоненко, весенняя проверка боеготовности, летние лагеря и стрельбы...

Кто ты есть, Гапоненко? И как мне тебя воспитывать?..

– Вы верите, что справедливость всегда торжествует? – спросил он.

Верю ли я?.. Бывает, что торжествует. Если за нее хорошо подраться. Себе я могу признаться, что не всегда лез за справедливостью в драку. А что сказать подчиненному?

– Нет, не всегда торжествует.

– Я думал, вы побоитесь признать это.

– Вы – что, считаете себя несправедливо обиженным?

– Считаю.

– В чем, если не секрет?

– Секрет...

Не хочешь говорить, Гапоненко, не говори. Но, между прочим, если всем обиженным ковырять свои болячки, толку мало будет. Меня вон тоже обижают, а не ковыряю свои обиды. Некогда ковырять, выматываюсь.

– Все-таки ты не прав, Гапоненко.

– Так даже приятнее.

– Что приятнее?

– Что вы меня на «ты».

– Скажи, Гапоненко, что тебя ест? Почему ты всегда один?

– Неправда ваша, товарищ лейтенант.

– Ну да! «Неправда ваша, дяденька»!

По его неулыбчивым губам пробежала смутная улыбка.

– Товарищ лейтенант, а слабо поговорить без погон?

– Давай без погон.

– Вы капаете мне на мозги, потому что я вчера попался. Так?

– Так.

– И раззвонили о моей самоволке на весь полк. Так?

Я счел за лучшее обойтись без второго «так».

– Самоволили мы, товарищ лейтенант, на пару с Зарифьяновым. А Зарифьянов – подчиненный вашего дружка Толчина. И Толчину тоже известно про самоволку. Но тот не стал звонить. Завел Зарифьянова в каптерку и врезал пару раз по морде. И все шито-крыто.

– Ты хочешь, чтобы и тебя тоже по морде?

– Честнее было бы. И всем легче. Вы тоже втык из-за меня получили.

– Получил, Гапоненко. Но бить подчиненного – не по-мужски. Он же не может дать сдачи.

– Зато на психику никто не давит.

– А на тебя кто давит?

– Вы. Да и сами маетесь. Пожалели бы себя. Ваш дружок-инициатор не Зарифьянова пожалел, а себя.

– Почему вы все о Толчине, Гапоненко?

– Все к тому же, о справедливости. Его хвалят, а вас ругают, хотя вы вкалываете больше, чем он.

– Хвалят и ругают за результаты.

– Одни и те же результаты по-разному могут выглядеть...

Да, по-разному. Тут уж мне нечего было возразить. Уложил меня подчиненный на обе лопатки.

Он вздохнул и сказал:

– Хорошо побазарили, товарищ лейтенант. Разрешите идти спать?

– Идите...

С утра мы выехали в поле. Свой учебный район я уже успел изучить. «Мостушку» мог привести на место даже с закрытыми глазами. Но что-то случилось в тот раз. То ли застил глаза мелкий буранчик, то ли черт закружил. Приотстав от колонны и желая сократить путь по зимнику, мы заблудились. Путлякали по полю без единого ориентира, втыкались в каждый поворот. Наткнулись на санную дорогу и поползли по ней. Она забирала все левей, а нам надо было как будто вправо. Попался заснеженный стог, раньше я его никогда не видел. Уже и рассвет выползал со стороны нашего городка.

В растерянности я велел водителю затормозить и спрыгнул на землю. Стоял, разглядывая незнакомое место. Вылезли из кабины станции и мои подчиненные. Они уже поняли, что мы блуданули.

– Давайте назад по своему следу, – предложил сержант Марченко.

Я достал карту и попытался при свете фары сориентироваться. Санной дороги, конечно, на ней не было. Гапоненко тоже сунул нос в карту. Спросил:

– Сарай нигде поблизости не нарисован?

– Какое-то строение есть.

– Туда, наверно, и ездят на санях. Давайте и мы туда?

Деваться было некуда: поехали. Минут через десяток оказались у глинобитного строения. На крыльце я заметил тетку в телогрейке. Намылился к ней выпросить дорогу. Но Гапоненко уже выскочил наружу и, опередив меня, рысцой подбежал к ней. Я лишь услышал, как она воскликнула басом:

– Лешка! Откуда ты взялся?

– Здорово, тетя Поля. Катюха не тут?

– Что ей тут делать? На дойку пойдет.

– Нам на стрельбище надо, тетя Поля. Вроде бы отсюда налево, так?

– Куда ж еще? Ваши завсегда там воюют. Прямо по-над сараем, и держитесь края. Там своих и увидите.

– Спасибо, – сказал я тетке и направился к тягачу.

Гапоненко нагнал меня.

– Знакомая? – спросил его.

– Фермой заведует. У них тут зимние корма...

В конце концов, на место мы попали, но опоздали на целый час. Бататарей уже заняли огневые позиции. Расчеты занимались оборудованием оружейных дворишков. Было слышно, как в скрытой от глаз балке фыркали двигатели тягачей.

В большой палатке был развернут полевой командный пункт. Оставив «Мостушку» на попечение сержанта Марченко, я поспешил в палатку. Вошел, доложил тусклым голосом о прибытии и застыл у входа.

Два длинных самодельных стола были вкопаны прямо в землю. Скамейки возле них – тоже. На них сидели офицеры. На передней пристроился Серега Толчин. Он кивнул мне, выказывая сочувствие: терпи, мол. Подполковник Хаченков стоял в торце стола без шапки, что само по себе уже не предвещало ничего хорошего.

– Явился, голубчик! – Изрек, наконец, он, и его «голубчик» прозвучало, как «сволочь». – Полюбуйтесь на него!

«Любовались» мной довольно долго, так, во всяком случае, мне показалось.

– Два офицера закончили одно училище и оба по первому разряду, – продолжил Хач. – А разница между ними – небо и земля. Я говорю о Толчине и Дегтяреве... Объясните свое поведение, Дегтярев!

Что я мог объяснить? Ну, заплутался. Присыпало снегом поворот, не заметил его. А напрямик поехал – хотел, как лучше.

Хач задавливал меня. У меня даже голос менялся, делался тихим и робким, когда он заговаривал со мной. Я ненавидел себя за это, но ничего поделать не мог. Вот и в палатке смог произнести одно лишь слово:

– Виноват.

Но в этот раз оно не смягчило подполковника.

– Прошу высказываться! – буркнул он.

Все высказались примерно одинаково, в том смысле, что я несобранный, что у меня затянулся процесс командирского становления. Я и сам клял себя за свою дурацкую оплошность. Понимал, что заслуживаю наказания. Слушал без обиды и не залупался даже мысленно.

Ждал, что скажет комбат Шаттар Асадуллин. Ему по должности положено было пригвоздить прямого подчиненного к позорному столбу. Но он отмолчался. Зато вдруг вылез Серега, хотя за язык его никто не тянул. И заявил, что я зазнался и ничьих советов не признаю.

В голове моей пронеслись зеленые мыльницы, самовольщик Зарифьянов, газетные синие птицы. И я неожиданно для себя вывернулся:

– Заткнись, Зеленая мыльница!

Тот обиженно заткнулся, зато заговорили все сразу. Всем стало ясно, что я завидую его славе и авторитету. А комсомольский цицерон Лева Пакуса с пафосом объявил, что инициатор почина – это маяк, в том числе и для меня. И пообещал, что моим делом займется комсомольский комитет.

Я стоял со звоном в голове и обреченно ждал конца экзекуции.

– У молодого офицера вышла осечка, сказал замполит. – Надеюсь, комсомол даст правильную оценку его проступку.

Хач покривился, но ничего не сказал.

Потом, до начала боевой работы, мы сидели с замполитом вдвоем в нашей «Мостушке». Я выложил ему все, что думаю о Серегином почине, о зеленых мыльницах и о рядовом Гапоненко. Хотел рассказать о самоволке Зарифьянова, но во время удержался. Не стал стучать на однокашника.

Трое суток ареста от командира полка я схлопотал. На гарнизонной гауптвахте из офицеров оказался я один, и меня назначали старшим команды по очистке плаца от снега. Все бы ничего, но когда мимо проходила строем моя батарея, чувствовал себя, как нашкодивший пес. В остальном же было терпимо. Чистое постельное белье, солдатский харч и даже сортир в помещении, а не на улице. И зеленая тоска от зубрежки уставов внутренней и караульной службы. В восемнадцать ноль-ноль на гауптвахту являлся комендант и принимал у меня зачеты по главам уставов. И не по смыслу, а назубок.

Через трое суток прямо с губы я заявился в казарму. Никакого осуждения подчиненных не уловил. Они как будто даже сочувствовали мне. Был поздний вечер. Идти ночевать к тете Марусе не хотелось. Да и Толчина не было желания видеть. Сидел в канцелярии батареи и глядел, как тычется в окошко снег. Скрипучий фонарь у входа в казарму очертил нечеткий круг. В нем белые змеи сворачивались в клубки и уползали в темноту. Заглянул сержант Марченко, сказал по-свойски:

– Постель на нижнем ярусе, товарищ лейтенант. Старшина вам чистые простыни выделил. – Постоял. Потоптался. – Особо-то не переживайте, товарищ лейтенант, зараз перемелется, – и вышел.

А я и не переживал. Был спокоен, как столб в поле. В сон меня не тянуло. Сел было за письмо Дине. Но слова никак не хотели ложиться на бумагу. Даньку Бикбаева бы сюда, с его добрыми глазами. Пусть бы пожевал немного, прежде чем сказать что-нибудь хорошее. Я бы поплакался ему в жилетку. Так, мол, и так. Осталось в Уфе только одно окно. Оно из другого мира. В нем живет лупоглазый парень. Ночами он сочиняет стихи девчонке, что явилась ему из длинного, похожего на коридор, школьного зала...

Парень покинул тот мир. Теперь там висит фотография, с которой смотрит на мать лупоглазый лейтенант. Мать думает, что сын вырос и стал мужчиной. А он все такой же розовый...

Где же ты, Данечка?..

Наша вторая с ним встреча произошла в родных местах. Отпуска совпали, и мы неделю провели вместе на скалистом берегу реки Белой. Даниял погрузил и поседел. Разомлев от водки и харьюзовой ухи, мы развалились в тот вечер у костра. И он спросил вдруг о совсем забытом, чего я никак не ожидал:

– Ты знаешь, где живут синие зайцы?

Слова были Серегины, а смысл... Все мы куда-то стремимся, чего-то ищем. В устах Даньки синие зайцы – все равно, что перо жар-птицы. Сказка, символ того, что не достижимо. Но ведь пытаемся. Мелькнул вдали неясный силуэт: чей, откуда? Догнать бы, ухватить бы! Но нет, растаял в дымке силуэт, а может, его и не было вовсе.

За неделю мы обо всем переговорили. Он рассказывал о себе рывками, безо всякой последовательности, точно так, как когда-то в курсантскую бытность:

– А у нас сын. Ленькой назвали.

И я представлял скуластого мальчишку и русокосую женщину, что подарила Даниялу сына...

... – Поставлю рядом таз с холодной водой. Как только голова превратится в булыжник, я ее – в таз. Ты же знаешь, что наука мне всегда тяжело давалась.

Даниял окончил заочно академию.

... – Ну, думаю, прозевали залёт. Сам сажусь за офицера наведения. Цель обнаружили уже в зоне пуска. Первую ракету пустили, вторую не успеваем. А на КП докладываю, что уверен в первом пуске. А я и был уверен... Мне – досрочную звезду, солдатам – отпуска...

Данька обогнал нас с Сергеем в звании и командовал дивизионом.

Сыпались в костре уголья. Внизу билась о скалы река. Мы лежали у костра и молчали. Я представлял длинную и неровную, как жизнь, тропу. Где-то там, в конце пути, за самым дальним поворотом – белая хижина на зеленой лужайке. Приду и брошу усталое тело в траву. И скажу: хватит, дошел!

Любая дорога приходит к концу. И завалы позади, и волки не съели. И белая хижина на зеленой лужайке. Синь опрокинулась на землю, обняла траву, деревья и меня, раскинувшего руки в август... Откуда же беспокойство? Почему мысли возвращаются к той неровной дороге и к тем камням, на которых еще остались наши следы?..

Перед самым рассветом, когда начали притухать звезды, я поинтересовался:

– А про Ольгу ничего не хочешь спросить?

– Нет...

Молодец, Данька! Ворошить какие-то кусочки жизни, значит, опять копаться в болячках. Не место этому было в рассветной тайге, и очень уж далеко от того дня, когда меня на всех законных основаниях песочили в командирской палатке...

В полк мы вернулись через сутки. Я – весь из себя виноватый, с пониманием этой виноватости, с досадой на свое глупое поведение. И с обидой. Хотя, здраво рассуждая, обижаться надо было только на свою куленость во время марша и дурость характера. И Сергей делал обиженный вид. Потому мы почти не разговаривали. Разве что перебросимся одной-другой фразой, когда деваться некуда было. Врозь уходили по утрам в полк, я – на час раньше, чтобы успеть на подъем. И возвращались порознь. А долго ли можно так выдержать, если живешь в одной комнате? И неловко, и томительно, и словно третий жилец глядит сверху на обоих. Наверное, Сергей эту неловкость ощущал больше. Однажды я шел, не торопясь, со службы домой. Но он, видно, поджидал меня. Поравнялись и молча зашагали по темному полю рядом. Он заговорил первым:

– Пойми, так сложились обстоятельства.

– Знаю я твои обстоятельства.

– Если я на чем-то погорел, то ты встань на собрании и говори, как положено. Такой закон жизни. И я не обижусь. Так надо. На собрании... А ты сразу: «Зеленая Мыльница».

Я вспомнил свет фары, размытую дождем дорогу. И его: «А ведь я не люблю Лидуху». Вот и в этот раз были в его голосе неуверенность и извинительность. Они не тронули меня, и я зло спросил:

– А Зарифьянов?

– Что Зарифьянов? – смешался он.

– Забыл, когда ты по полку дежурил? Гапоненко вместе с твоим Зарифьяновым был в самоволке!

Все-таки долгое замешательство было не в его характере. И чем уже тропка, тем увереннее он себя чувствовал.

– погоди, Лень. Тогда я, каюсь, маху дал. Но то уже ушло. Пусть ушло, а?..

Я промолчал. Все уходит. Только все равно следы остаются. Можно, конечно, и их стереть, но тогда сотрется весь опыт, который люди накапливают, получая синяки и царапины.

– Ты идеалист, Ленька. Есть нормальная человеческая хитрость. Она оправдана, потому что служит большой цели... Голодный человек украл буханку хлеба – непорядочно! Нехорошо воровать! Так что, обязательно его в тюрьму?

– Вор здесь не причем, Сергей.

– Но ты клеймишь меня за то, что я играю по правилам.

Я замолчал. Хотя так и тянуло объясниться. Мы бы и начали, может быть, такой нужный нам разговор, не упомяни он этой буханки хлеба. Опять все уплывало в относительность, без конкретных вещей, которые можно шупать, толкать, кидать. А у меня нервы и так были на пределе.

Каждый день я ждал письма, а его не было. И я предчувствовал, что не будет совсем. Но для этого нужна была жирная точка, чтобы осознать, убедиться. Так уж человек устроен, что без этой точки обойтись не может. Потому что неопределенность всегда давит на плечи, как тяжелый груз в конце пути. И на меня она действовала угнетающе.

И еще не давало мне покоя, прямо-таки давило на грудь предстоящее персональное дело. И Толчин, и мой помощник сержант Марченко тоже были членами комитета. Я представлял, как они задают мне вопросы, на которые обязан отвечать. Оправдываться не собирался, признавать ошибки было стыдно, отмалчиваться, как школьнику, тоже нельзя. Как себя вести, не ведал, и от этого на душе оседала муть.

Спасался от такого мутного состояния службой. Даже забывал о своих невзгодах.

Каждое утро делал подъем, и не только своим подчиненным, но и во взводе разведки. Старшина одобрительно ухмылялся, глядя, как я строю людей, чтобы вместе с ними бежать вокруг ограждения городка. Вместо физзарядки я устраивал кросс, зная, что кроссовую подготовку будут обязательно проверять на итоговых занятиях. Поначалу солдаты бурчали из-за «беготни», да и самому мне, если честно, тягостными казались эти километры. Гапоненко тоже «эти кроссы в гробу видел». Но не отставал, держался все время рядом со мной. А на финише всегда поддавал, и, когда я пересекал черту, он уже закуривал самокрутку с казенной махоркой.

– Может, курить начнете, товарищ лейтенант? – спрашивал.

– Никогда, – твердо отвечал я, хотя спустя годы закурил и дымлю до сих пор.

Трудно ли, не трудно ли давались первые километры, но уже недели через две мы втянулись в пробежки, чувствовали после них приятную легкость. После них мы вместе со старшиной шли в полковую столовую на завтрак, умно рассуждали по дороге о разных житейских делах. И как-то раз он уважительно и значимо произнес:

– Сила человека – в земле и в людях, лейтенант. Древний герой Антен тоже черпал силы у земли и у народа.

– Антей, – поправил я.

– Сущность та же, – и поощрительно, с высоты возраста и жизненного опыта похлопал меня по плечу....

После ужина в казарму явился старший лейтенант Лева Пакуса.

– Напиши объяснительную, – сказал он. – И кайся побольше. Сам понимаешь, повинную голову...

– Покаюсь, в чем виноват. – ответил я. – Но и добавлю кое-что. Насчет сокрытия случаев нарушения дисциплины.

Лева рассмеялся:

– Ты не того? Каких таких «случаев»?

– Зарифьянов, например, во взводе Толчина...

– Ну, даешь, Дегтярев! «Сам тону и за собой тяну» – так, что ли? – придвинулся ко мне вплотную. – Спрашивают с тех, кто попадает, сам понимаешь. Ты давай пиши так, как положено, а мне бежать надо.

Ему все время надо было куда-то бежать. Поглядишь на человека – самый занятый во всем полку. И от нарядов его почему-то освободили, как будто он не такой же, как все, другие офицеры. Он все время что-то организовывал, договаривался на выходные дни о всяких

встречах, приводил знатных, никому не известных людей, которые долго читали по бумажкам с трибуны об успехах и достижениях. Такие мероприятия назывались укреплением дружбы с местным населением. Потом Лева вел гостей в офицерскую столовую на ужин.

– Ты очень-то не переживай, – сказал он мне в тот вечер уже от дверей. – Мы уже с Толчиным обговорили сценарий. Все будет в порядке.

Я вспомнил об этом, шагая рядом с Сергеем через поле.

Падал ленивый снег, редкий и мохнатый, как пух. Впереди мелькали тусклые огоньки нашего поселка. Нехотя и беззлобно потявкала в той стороне собачонка. Поле перешло в огороды, разделенные межей. Тропа сузилась, и я приотстал от Сергея. В начале улицы он подождал меня, спросил все с той же извинительной интонацией:

– Может, тебя заседание комитета беспокоит? Плюнь? Поставим на вид, и все. Уже договорено...

Заседание комсомольского комитета состоялось примерно через неделю. Я рассказал, как заплутались. С сознанием правоты признал, что виноват в этом только сам. Сделал паузу, собираясь с мыслями, чтобы перейти к самому сложному: почему глупо вел себя в командирской палатке. Но не успел. Лева Цицерон спросил членов комитета:

– Какие будут вопросы к Дегтяреву?

Вопросов некоторое время не было. Потом вдруг, вот уж никак не ожидал, встал Марченко:

– Скажите, с какой целью вы каждое утро проводите с подчиненными кроссы?

Я даже растерялся: при чем здесь кроссы? Потом уловил смысл вопроса своего подчиненного, понял, что он кидает мне веревочку. Его, конечно, не посвятили в то, о чем «договорено», и он переживает за меня, боясь, как бы не вlepили строгача.

– Готовимся к весенней проверке, – ответил я.

– Какие обязательства взял расчет станции кругового обзора? – спросил сам Лева.

– Повышенные, – автоматически доложил я.

– У кого еще есть вопросы?

Сергей молчал, поглядывая в окошко. Там было пусто и голо, только чернели столбы для будущего дощатого забора, который отгородит наш городок от колхозного поля. Досок не было, и Лева Цицерон выбивал их на каком-то предприятии, крепя с его активистами дружбу. Мне показалось, что возле ближайшего к окну столба мелькнул Гапоненко. Но я решил, что почудилось, потому что нечего ему было делать возле штаба.

– Вопросов нет? – словно подводя черту, уточнил Лева. – Какие будут предложения?

– Поставить на вид, – поднялся Сергей.

Его дружно поддержали. Все, как и планировалось, о чем мне Сергей сказал по дороге из полка домой.

О Зарифьянове ли вести теперь речь? Мне что, больше всех надо? «На вид» – это, конечно, мало, я понимал. Пожалели Лева с Сергеем? А может, не пожалели, а купили? Чтобы не вякал лишнего, не принес ненужных хлопот.

Странная вещь: сказать, о чем думаешь, всё равно, что «настучать». Ведь так и воспринимается. Да и сам воспримешь близко к тому... Только через много лет я понял, что все не так просто, что каждый факт – составная часть явления, а явление – производное общественного мышления. Чтобы его повернуть, нужна глобальная психологическая перестройка. Мысли вслух – это сродни героизму. Во всяком случае, они требуют мужества, которое приходит, когда человек поставит самого себя на самое последнее место, а на первое выдвинет, дело.

Я вышел из штаба, удовлетворенный тем, что все позади. Свернул за угол и сразу же увидел невдалеке Гапоненко. Значит, не показалось – он и впрямь мелькнул в окошке.

- Ты что тут делаешь? – спросил я.
- Ничего. Вас жду.
- Зачем?
- Узнать, как у вас.
- Нормально. Обошлось легче, чем думал...

Я – «Гроб»

Снег похудел и повлажнел. По утрам он покрывался хрупкой коркой. Под ногами она трещала, будто рвалась на куски обветшавшая белая простыня.

Предстоящая проверка значилась в бумагах, как внезапная. Хотя о приезде комиссии мы узнали, чуть ли не за неделю. И завертелось. Дорожки – песочком! («Где его, к лешему, взять в эту пору?» – «Достать!»). Полы – мастикой! Прически – два сантиметра и не больше! Офицеры с тревожными чемоданами – на казарменное положение, чтобы по сигналу – как штыки!..

Наш взвод кинули на побелку тополей. Но не успели мы развести известку, как поступила команда «Отставить!», и нас перебросили на забор. Незаменимый комсомолец Пакуса-Цицерон сумел уболтать шефов и привез от них целую машину досок. Едва мы их разгрузили, Цицерон объявил, что емудохнуть некогда, и умотал поднимать боевой дух зенитчиков. А мы вооружились пилой и молотками.

Забор видно был одним из самых важных участков боеготовности. И в первый, и во второй день к нам наведывался сам Хач. Насуплено глядел на нашу плотницкую команду. Снимал и надевал фуражку – не понять было, доволен или нет нашим суетливым усердием. Потом вдруг сдвинул фуражку на затылок и вымолвил:

– Дегтярев!

У меня екнуло сердце, но я напустил на себя лихость, вприпрыжку подскочил к нему и отдал честь.

– Мчитесь на склад, Дегтярев. Скажите, чтобы приготовили цементную краску.

Я вспомнил: «Смысл красоты – в единообразии». Наши казармы были серого цвета, значит, и забор должен быть серым.

– Сосновый дух загубили, – пробурчал Гапоненко, когда мы привели нашу стройку к единому мрачному стандарту.

– Загубили, – согласился я, но особо из-за того не расстроился.

Меня больше беспокоило то, что теперь напрямую в поселок ход закрыт. А через КПП – минут на пятнадцать дольше. Впрочем, заборов без дыр не бывает...

К приезду комиссии наш городок был прилизанным, серым и чутко настороженным.

Сирена рванула во второй половине ночи. Проверяющих не обманули наши ночевки в казарме. На огневые позиции они отправили расчеты без офицеров, а нас задержали на полчаса для инспекторского опроса: стучите, мол, на свое начальство – раз в году допускается. Стучать, вообще, стыдно. Даже дети презирают ябедников. Так что жалобщиков не нашлось, да и особых поводов для стукачества не было.

Когда я подбежал к своей «Мостушке», антенна уже крутилась. Поднялся по приступке в кабину станции и мгновенно окунулся в мерцающий сумрак, где гуд аппаратуры не воспринимается ухом, а все посторонние звуки остаются за захлопнувшейся дверью.

Сержант Марченко сидел на связи, как и положено старшему. Гапоненко колдовал у главного индикатора. Увидев меня, поднялся, уступая место. Но я показал жестом: работай. Сам вышел на связь с КП и доложил о готовности. Минут через шесть-семь поступила команда на поиск цели. В этот момент дверь в станцию отворилась, и появился посредник – тучный майор из штаба армии. Представился, пристроился в углу на раскладном стульчике и объявил:

– Считайте, что меня нет здесь.

Он почти вывел меня из строя. Что бы я ни делал, все время чувствовал его взгляд.

– «Бамбук»! Я – «Гроб». Как слышите – прием!

Накануне я прихватил насморк, и «гром» у меня звучало, как «гроб». Сергей уловил это и, чего я совсем не ожидал, позвонил на станцию:

– Ну как вы там, в гробу?

Мы почти не разговаривали с того дня, когда меня «распечатывали» в командирской палатке, и – на тебе! – позвонил...

– Есть цель! Азимут... – Гапоненко обнаружил самолет «противника».

Развертка бежала по экрану, вспыхивала, натываясь на местные предметы, и совсем слабо высвечивала цель. Но щупальца локатора уже зацепились за нее.

От нас координаты цели уходили на станции орудийной наводки. Пока их операторы еще не видели противника – далеко. Но планшетисты уже прокладывали курс, и параболоиды антенн нацелились в его сторону.

Вдруг цель раздвоилась. Все ясно: противник применил помехи.

– Цель два, – доложил Гапоненко.

Может, на самом деле вторая?.. Я забыл о посреднике. Где же первая? Вон она, чуть высвечивается.

– Отставить «цель два», Гапоненко! Передавать: цель один применила помехи!

Аппаратура гудела знакомо и ровно. Как сотни тысяч комаров. Гапоненко понял, что это были помехи. А вот теперь вторая.

– Цель два...

Они навалились с разных сторон, пытаясь прорваться к охраняемому объекту. И вдруг экран ослеп.

– Цели потеряны.

Я метнулся к блоку питания. Рванул его на себя. Стронулся с места посредник – майор и тоже уткнулся в скопление проводов и ламп.

Все, точка. Не точка, а гроб. «Гробовщик вы, товарищ лейтенант Дегтярев! – скажет Хач. – Вы подвели полк!». Секунды стучали в сердце. Сколько раз они уже стукнули?

– Марченко, схему!

Зачем тебе схема, Ленка? Пока будешь копать, пока устранишь неисправность, противник забросает тебя бомбами. Схема не нужна, потому что я знаю ее наизусть. А станция не работает. Может, в приемнике?.. Куда это лезет Гапоненко? Зачем ему ЗИП?..

А тот уже выхватил лампу, открыл приемный блок и движением фокусника заменил одну из ламп.

Сколько у тебя чувств, Гапоненко? Если ты найдешь сейчас неисправность, я скажу, что ты колдун. Потому что одних знаний здесь недостаточно. Сколько у человека чувств вообще? Пять?.. Значит, у тебя, Гапоненко, на одно больше...

Ровный гуд аппаратуры, гуд сотен тысяч комаров. Развертка высвечивает цели. Прошло всего тринадцать секунд.

– «Бамбук»! я – «Гроб». Цель...

Все, что было потом, происходило уже в рамках привычного. Ослепший на тринадцать секунд экран жил во мне, когда мы перемещались на запасную позицию и когда ловили цели в противогазах. Я даже не обеспокоился, когда тучный майор-посредник неожиданной вводной «вывел меня из строя». Даже не усомнился, что расчет и без меня сработает, как надо.

Команда «отбой» прозвучала с восходом солнца. За посредником на позицию прислали газик. Я сопровождал его до машины и даже распахнул перед ним дверцу. Не из подхалимажа, а от довольства тем, что удачно сработали, и он был тому свидетелем.

Перед тем, как отбыть, посредник сказал:

– Я удовлетворен.

– Спасибо, товарищ майор, – не по уставу ответил я и поймал себя на том, что прозвучало не «байор», и, значит, нос мой пришел в норму.

Проводив его, я открыл кабину станции:

– Вылазь, гробовщики!

Мы уселись, кто на что. Гапоненко потянулся к брустверу, смял в пригоршне снег, бросил. Затем закурил.

Я мог бы в то утро сказать ему много хороших слов. Они были лишними. Голубоватые рассветные сумерки спокойно уплывали в сторону недалекого леса. Голубизна задерживалась на островках снега, но и там тихо и безмятежно таяла. Даже мысли были дремотно-безмятежными.

– Товарищ лейтенант!

– Что, Алексей? – Я первый раз назвал Гапоненко по имени.

– Помните наш разговор? – В лице его тоже была безмятежность. Только две морщинки на лбу нарушали ее.

– Помню.

– Знаете, за что меня в детдоме из комсомола исключили?

Я даже не знал, что он раньше был комсомольцем.

– За то, что на собрании не так выступил. Рассказал, что директор и завхоз детдомовских свиней налево пустили. И купили себе моторку для охоты. А свиней списали на падёж... За клевету меня исключили.

– Ты можешь снова вступить.

– Ну, уж нет. Не терплю словоблудия... Я просто хотел сказать, товарищ лейтенант, что вы тогда правы были: не надо копаться в болячках...

Я сидел в пустой ленкомнате в полном довольстве собой и в индюшачьей важности. На подведении итогов председатель комиссии дважды упомянул мою фамилию и похвалил весь расчет. Сергею, правда, комплиментов досталось больше. Его взвод отчитывался за полк по кроссовой подготовке, и все каким-то макарон уложились в разрядные нормы. Ничего не скажешь – молодцы, а я не верил, что они выполняют это свое обязательство. Мои подчиненные, уж точно, не вышли бы в разрядники.

Комиссия утром уехала, и я тихо радовался тому, что теперь можно расслабиться.

И никуда не деться, придется общаться с Сергеем.

В эти минуты он и ввалился.

– Ну как, гробовщик? Азимут – сорок, цель – чемергес?

Я промолчал, глядя ему в лоб.

– Да и потолковать надо бы, – проговорил он. – Я же соображаю, что ты на меня ножик точишь.

Я видел, что ему неловко, и был этим подло доволен.

Мне не хочется спорить. Смотрю в окно. День катится на вторую половину. В городке тихо – солдаты отправились в баню смывать инспекционный пот, а офицеры-женатики разошлись по домам. Пусто вокруг, даже не по себе.

– Серега, – сказал я, – а ведь мы не пойдем друг друга.

– Почему, Лень? – Он весь подался ко мне, и в лице его появилось что-то просительное. – Почему, Лень? Мы же с тобой два старых стариканчика! – Это мое слово «стариканчик», так я Сергея иногда называл. – Помнишь, Лень, как мы волокли на себе пушку? Тягач заглох, и мы волокли ее по песку. Ты еще сказал, что те полтора километра, как печать на будущее.

– Помню, Серега.

И сразу после этих слов заползло в комнату щемящее чувство утраты. Да разве ж это конец? Ведь мы, точно, стариканчики из одного кубрика, и Сергей, и Даниял, и я.

– Ладно, Серега, пошли до хаты, – сказал я.

Но «до хаты» не получилось. В дверь громко стукнули и, не дожидаясь разрешения, распахнули. Вошел мрачный сержант Марченко.

– Гапоненко ушел.

Я выскочил из ленкомнаты. Схватил стоявший в тамбуре велосипед капитана Асадулина, дежурившего по части. Повихлял по весенней, размазанной тягачами колее в сторону Лугинок.

Дорога взбиралась на бугор. Педали прокручивались. Колеса разъезжались.

Мальчишечью фигуру Гапоненко заметил сразу за бугром и прибавил ходу. Он оглянулся, шатнулся было к обочине. Вокруг ни кустика, одно ровное поле.

Я остановился. Ждал, когда он подойдет. Приблизился и устался в землю. Шапка сползла на затылок. Две темных морщинки прорезали лоб. Весь он был неприкаянный и неухоженный. Вроде бы и не он, мой ровесник, а совсем мальчишка.

– Пошли! – сказал я.

Он, молча, двинулся за мной.

Потом мы долго сидели в ленинской комнате вдвоем.

– О чем ты думаешь, Алексей? Две самоволки за три месяца – это трибунал! Знаешь об этом?

– А кому жалко?

– Мне жалко.

– Жалелок на всех не хватит, товарищ лейтенант.

– Твою девушку Катериной зовут?

– Катериной.

– Любишь ее?

Он глянул на меня исподлобья.

– Люблю, и что?

– Она же переживать будет, если в дисбат загремишь.

В глазах его я прочитал: «Много ты понимаешь!». И услышал:

– Не будет переживать. Вы, товарищ лейтенант, баб не знаете. Они только себя любят.

Я внутренне чертыхнулся и запоздало подумал о том, что девушке той всего скорее наплевать на какого-то Гапоненко. Не он, так другой найдется, мало ли солдат в гарнизоне!

Подумал так и твердо решил повидать ее.

Я неуверенно крутился вокруг фермы, не решаясь заглянуть вовнутрь. Было холодно, я постукивал для согрева сапогами и ждал, чтобы кто-нибудь вышел из помещения.

– Или замерз, лейтенант?

Черноглазая, чернобровая, с губами сердечком, стояла передо мной красавица. Подошла, верно, со стороны и глядела, улыбаясь.

– Здравствуйте, – произнес я.

– Здрав-стуй-те, – она явно передразнила меня.

– Я к вам по делу.

– Ко мне или ко всем?

– Понимаете... И не к вам, и не ко всем... Вы здесь работаете?

Она рассмеялась.

– Проходи, чего уж.

Толкнула скрипучую дверь, запустив меня в темный и тесный тамбур. Предупредила певучим грудным голосом:

– Головку пригни, лейтенант, а то стукнешься.

В комнате было натоплено до одури. Полная пожилая женщина в майке кочегарила у раскрасневшейся буржуйки. На ближней к печке кровати сидели три молодайки. Доярки уставились на меня, как на привидение.

– Мне что ли привела, Пальма? – басом спросила истопница, и все захохотали.

– Себе, тетя Поля, – отозвалась моя спутница. – Хочу офицершей стать.

Опять все захохотали. Я озираясь по сторонам, забыв о цели прихода, и думал лишь о том, как бы унести ноги.

– Кыш! – цыкнула на доярок толстуха. – Совсем человека засмущали... Проходите вон в мою камору.

Что-то знакомое мелькнуло в ее облике. Вроде бы видел ее где-то, хотя вряд ли.

Пальма толкнула неприметную дверь, и мы оказались в чистеньком чуланчике. Сбоку притулилась железная койка с шишечками, заправленная лоскутным одеялом. В углу солдатская тумбочка и покрашенная половой краской табуретка.

– Садись, – показала на табурет красавица. Сама осталась стоять.

– Помогите мне. Вы, видимо, знаете, – сказал я. – Мне надо побеседовать с женщиной, к которой ходит мой подчиненный Алексей Гапоненко.

Она нахмурилась и резко произнесла:

– Беседуйте. Ко мне ходит.

Наверное, мое лицо стало растерянным, потому что она перестала хмуриться и грустно сказала:

– Да, ко мне ходит. Все сватает. А я все не иду.

– Вас Пальмой зовут? – неуверенно спросил я.

– Нет, кличут. Зовут Катериной.

Я никак не мог собраться с мыслями, и потому она заговорила сама:

– Уж больно он маленький да хлипкий. Да еще нервный. Я его гоню, а он буянит. Разве с таким можно жить?

Я объяснил ей, что есть закон: две самовольные отлучки за три месяца – и трибунал.

– Да что вы! – она заволновалась. – Я-то что могу?

– Только вы и можете. Скажите ему, чтобы приходил только в увольнение.

– Скажу.

В каморку заглянула толстуха. Узнав, в чем дело, напустилась на Катерину:

– Я тебя упреждала! Что парню голову морочишь? И работающий, и добрый, и сирота... У, краля малахольная!..

И тут я вспомнил. Это ее мы встретили зимой, когда блуданули по дороге в учебный центр. И Гапоненко тогда спрашивал у нее про Катюху.

– Не дай загинуть парнишке, командир, – сказала она на прощанье. – Да и мы с Пальмой с ним потолкуем...

Близился уже вечер, когда я возвращался с фермы. Дорогу пересекали тени от столбов, хотелось через них перешагивать. Шел и ощущал странную близость с рядовым Гапоненко. И у него тоже любовь. И он тоже получил отказ... А я разве получил отказ? Я вообще ничего не получил. Даже крохотной записки... Уговорю старшину дать Гапоненко увольнительную на сутки. Пускай разбирается со своей Пальмой... Мне никто не даст увольнительную. Если смотреть только под ноги и не видеть ни столбов, ни маячивших впереди слабых огоньков, можно очутиться за тысячу верст отсюда. И дорога эта поведет не в село, а на берег дачной Дёмы. Там, у последнего поворота ждет меня Дина.

Вот он, поворот: стоп! Поднимаю голову. Нет ни реки, ни дач. Впереди лишь тусклые от керосиновых ламп окна. Третий дом с краю – тети Марусин, значит, и наш с Сергеем.

Приду, открою дверь, Сергей спросит: «Ты чего так поздно?» «Давай начемергесимся», – отвечу я.

Мутный квадрат от окна сонно покоился на подтаявшем снегу. Я шагнул в него, собираясь стукнуть в стекло, и замер. На занавеске четко обозначилась тень. Это была не Серегина тень. Я узнал ее. Так же коротко пострижены волосы, тот же профиль.

Я метнулся к калитке, ворвался во двор, толкнул дверь и барабанил, пока не услышал хозяйкино: иду, иду!

– Приехала? – шепотом спросил я.

– Приехала. Второй час с Сережей балакают. Вино не открывают, тебя ждут.

Я шагнул в горницу и растерянно остановился у порога. Мне навстречу поднялась... Ольга.

– Здравствуй, Антилопа, – машинально произнес я и опустил на табурет у двери.

Потом мы пили привезенный Ольгой сладкий и тягучий ликер. Она весело щебетала, лопотала и облизывала Сергея, не стесняясь тети Маруси. Я смотрел на нее и не мог поверить глазам. Где та девчонка, что следила за Сергеем робким взглядом? Что ловила каждое его слово и не решалась даже мало-мальски возразить ему?.. Вот и Сергей убедился, что терпение не может быть бесконечным. Потому что оно не есть природное состояние. Он же сам говорил, что жизнь течет, как того требует естество. А «естество» захотело к нему. И прикапало. И сидит, притиснувшись к нему, на кровати, терпеливо ждет, когда можно будет нырнуть под простыню... Ох, не уедет она отсюда так просто. Что ж, успеха тебе, Антилопа...

Чтобы не слышать их ночного пыхтения, ночевать я уволокся в казарму. Уговорил старшину отправиться домой, заверив, что вечернюю проверку и отбой проконтролирую сам. После отбоя сидел в канцелярии батареи и сочинял стихи.

*А вчера во время тревоги
Разбудили вьюгу косматую.
До рассвета старая дрогла,
Всё пытаюсь успеть за солдатами.
Утром медленно падал снег.
Я увидел тебя во сне...*

За окном действительно падал редкий, пушистый, последний, видимо, снежок. Тишина была мирная и спокойная. Прошла смена часовых, и она вписалась в ту тишину. Потом со стороны автопарка донесся шум мотора: дежурный поехал проверять дальний караул. И это не нарушило тишины. Она была такой уверенной и прочной, что поглотила все земные шорохи.

Как я и предполагал, Ольга захомотала Сергея. Да и замполит ей помог. Доходчиво объяснил Сергею, что сожительство чревато для офицера непредсказуемыми последствиями. Как бы ни было, но на майские праздники сыграли в офицерской столовой свадьбу. Назвали ее почему-то комсомольской, хотя комсомольцев на ней было – жених с невестой, я да Лева-Цицерон. Костюмов у нас – ни черных, ни других не было. Сергей сидел в парадной петушиной форме. А предусмотрительная Ольга привезла с собой даже фату. Жалась к жениху с блаженно-счастливым и гордым видом.

Справа и слева от молодых восседали сам Хач и замполит подполковник Соседов.

Цицерон был тамадой. Тосты произносил с намеками, так что все ржали. Не смеялся только Хач. Свадебное застолье он покинул задолго до его окончания.

Тетя Маруся, опустошившая свой домашний погреб, то выбегала на кухню за огурцами и холодцами, то с подозрительностью оглядывала официантку: не заначила ли та свадебную бутылку. Я уже был хорош, когда заметил, что тетя Маруся усиленно машет мне от дверей, вызывая за какой-то надобностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.